



Памятники исторической литературы



Петр Полевой

ИЗБРАННИК
БОЖИЙ

Пётр Николаевич Полевой

Избранник Божий

«Избранник Божий» — роман русского историка и беллетриста Петра Николаевича Полевого (1839–1902).

Центральными фигурами данного романа являются бояре Романовы, которым предстоит пройти тернистый путь на вершину власти, чтобы их наследник Михаил Федорович положил конец Смутному времени и стал полноправным властителем России, дав начало династии Романовых...

Содержание

От Издателя	0006
Избранник Божий	0008
#1	0008
I НЕЖДАННАЯ ВЕСТЬ	0009
II В СЕВЕРНЫХ ДЕБРЯХ	0024
III ЛУЧ СВЕТА ВО ТЬМЕ	0043
IV И РАДОСТЬ — НЕ В РАДОСТЬ	0059
V БУРЯ НАДВИГАЕТСЯ	0072
VI РОСТОВСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ	0085
VII НАКАНУНЕ РАЗГРОМА	0102
VIII РАЗГРОМ	0119
IX ОТ МРАКА К СВЕТУ	0130
X В УКРЫТИИ	0137
XI НА ВОЛОСОК ОТ БЕДЫ	0150
XII ПОД РОДНЫМ КРОВОМ	0157
XIII ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ	0164
XIV НОВЫЕ ТРЕВОГИ, НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ	0170
XV ПЕРЕД НОВОЙ БЕДОЙ	0182
XVI ЕЩЕ РАЗЛУКА	0195
XVII ЗАГОВОРИЛО РЕТИВООЕ	0205
XVIII СЛУХИ И СТРАХИ	0215
XIX КРОВАВАЯ БАНЯ	0222
XX ДО ПОСЛЕДНЕГО ИЗДЫХАНИЯ	0228
XXI НАША ВЗЯЛА	0235
XXII НЕ НА ТОГО НАПАЛИ	0249

Пётр Николаевич Полевой
Избранник Божий

От Издателя

«Памятники исторической литературы» — новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого.

В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей.

Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории.

Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок.

Пробудить живой интерес к истории, научить соотносить события прошлого и настоящего, открыть забытые имена, расширить исторический кругозор у читателей — вот миссия, которую несет читателям книжная серия «Памятники исторической литературы».

Читатели «Памятников исторической литературы» смогут прочесть произведения таких выдающихся российских и зарубежных историков и литераторов, как К. Биркин, К. Валишевский, Н. Гейнце, Н. Карамзин, Карл фон Клаузевиц, В. Ключевский, Д. Мережковский, Г. Сенкевич, С. Соловьев, Ф. Шиллер и др.

Книги этой серии будут полезны и интересны не только историкам, но и тем, кто любит читать исторические произведения, желает заполнить пробелы в знаниях или только собирается углубиться в изучение истории.

Избранник Божий

Мир Толстого как мир гения — велик и неповторим, судьба его — загадка, и видный писатель Русского Зарубежья Иван Наживин помогает нам приоткрыть над ней завесу. Автор биографического романа, будучи близко знаком со своим героем, трепетно воссоздает непрерывные мучительные поиски им Истины — смысла жизни. В этом и видится современное звучание «Неопалимой купины».

Книга издается к 175-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

НЕЖДАННАЯ ВЕСТЬ

Зима 1601 года была суровая и стала очень рано. Еще с конца октября закурили в поле метели, задул суровый северяк, озера и реки подернулись ледком таким, что лошадь с дровишками держать на себе стали, а немного спустя нагрянули такие морозы, что к Михайлову дню и снег умяли, и мосты по болотам да по топям намостили, и такой-то стал первопуток гладкий да славный, что хоть куда по нему поезжай. Везде ровень-гладень, везде путь-дорога: кони по ней без кнута бегут, сани сами катятся.

И словно поманил первопуток мужиков с теплой печи на дорогу, всюду по узким проселкам и по широким прямоезжим дорогам потянулись к белокаменной Москве обозы за обозами, а обок с ними поплелись православные, пожимаясь в своих худеньких зипунишках, попрыгивая с ноги на ногу в коротеньких валенцах, похлопывая новыми рукавицами, нахлобучивая на уши косматые шапки уша-

стые... Высоко задрали голову кабатчики и харчевники, почуяли поживу обильную. «Хошь сто верст пройдешь, а нас не минеешь! К нам вашу братию мороз — красный нос волей-неволей загонит, заставит раскошелиться!» — думали они про себя, поглядывали с крылечка на нескончаемые обозы, припасая корм для коней и всякую немудрую снедь для добрых людей, которых выгнала на мороз нуждишка горькая либо поманила корысть востроглазая...

Как раз за два до Михайлова дня большой обоз саней в двадцать, поскрипывая полозьями, подъезжал по Троицкой дороге к подмосковному селу Рахманову.

Около воев, запряженных сытыми крестьянскими конями, шли и мужики-молодцы один другого здоровее, ражие да красивые... Все молодежь, как на подбор! А всех-то краше был тот, что шагал около обозного старика хозяина: малый лет двадцати, кровь с молоком, кудри кольцами из-под шапки лезут, а подбородок да щеки румяные чуть-чуть еще темно-русою бородкой опушаются. Пригож и красив был этот молодец, да не плох был и тот

высокий, бородатый старик, что шел с ним рядом: на полголовы молодца того повыше и в плечах пошире, с живыми быстрыми глазами, он смотрел бодрее всех в обозе и, видимо, менее всех своих спутников тяготился трудностями далекого пути, несмотря на то что нес на богатырских плечах своих седьмой десяток. Широко шагая около своего сивого и дюжего мерина, старик хозяин, не переставая вести беседу со своим молодым спутником, то и дело оглядывался назад на остальных возчиков и покрикивал то одному, то другому:

— Эй, Сеня, чего там ворон считаешь? Аль не видишь, что у карехи седелка на боку?.. А ты чего зазевался, Мишук? Потяни супонь-то покрепче!.. Да помахивай, ребята, помахивай, до тепла недалечко... Вон дымки-то рахмановские за косогором по небу стелются!..

И он указал кнутовищем вдаль, на показавшиеся из-за косогора верхи крыш села Рахманова.

— И то до тепла-то поскорей бы добраться не мешало, — проговорил, пожимаясь и побряхтывая, молодой спутник старика, — а то уж меня мороз-то и сквозь полушубок проби-

рать стал...

Старик посмотрел на него искоса с насмешливой улыбкой.

— Ишь тоже! Туда же, мерзнет, ровно боярчонок!.. Очень тебя твоя женушка, моя доченька, больно забаловала, занежила!.. Да вот постой: тут на самом краю, как въедешь в село, мой давний приятель Кокша Семен харчевню держит, к нему и подкатим всею гурьбой... Небось найдется у старого плута чем нас и обогреть, и накормить...

Немного спустя весь обоз полегоньку сполз с косогора и, побрякивая колокольцами, подошел к крайней огромной избе, с высокою кровлей и обширным крытым двором, у ворот которого стоял и хозяин постоянного двора, приземистый, обрюзглый, краснорожий мужик лет за пятьдесят.

— К нам, к нам, гости дорогие! К нам заворачивайте! У нас щи горячие, каша масляная! — начал было он обычное причитание, низко кланяясь и снимая шапку с косматой головы.

И вдруг, взглянув в лицо старика хозяина, смолк, словно воды в рот набрал, и попятился

к крылечку.

— Здравствуй, здравствуй, Семен Иванович! — приветливо крикнул старик харчевнику. — Аль не узнал старого приятеля? И всего, кажись, год не видались...

Но Семен Иванович ничего не отвечал на приветствие и, допытывшись наконец до крыльца, стал подниматься на ступени, видимо собираясь уйти в дом.

— Ну, ну, отворяй, что ль, ворота! Отворяй, не держи. И так прозябли!

— А ну вас к шуту! — пробурчал вдруг хозяин, хватаясь за кольцо калитки. — У нас на дворе нет для вас места!

Старик и глаза вытаращил, и руки расставил от удивления.

— Да что ты? Никак, уторел? Иль не видишь, что это все романовские холопы?.. Или и меня не признал, Ивана Сусанина?

— Чаво не признал! Вестимо, признал, да нету вам места — вот и сказ весь! — огрызнулся харчевник, хлопнул калиткою и задвинул ее засовом.

Иван Сусанин с добродушною улыбкой оглянулся на товарищей, порядочно-таки оза-

даченных выходкою харчевника, и проговорил как будто в оправдание ему:

— Видимо, к Михайлову дню пиво варил да лишнюю ендову хлебнул... Угар еще в голове бродит... Ну, да что ж нам ждать — поедем дальше! Тут что ни изба, то харчевня!

И обоз двинулся далее и остановился у следующей избы. Хозяин ее, стоявший с соседом у ворот, видел издали, как принял заезжих гостей Семен Кокша, и потому не спешил распахнуть ворота, а предпочел сначала вступить с Сусаниным в переговоры.

— Вы, братцы, откедова? — спросил он осторожно.

— Сам видишь откедова! С поля да с мороза... Впускай скорей в избу, там расспросишь, — уже с некоторою досадой ответил ему Сусанин, начиная отвязывать повод от дуги.

— Да нет, старина, ты погоди выпрягать... Вишь, как вас много: мне, пожалуй, вас в избе и не поместить будет. Люди незнамые, боязно...

— Да какие ж незнамые? Бог с тобой, братец! Об эту пору, а не то к Рождеству, я тут

ежегодь обозы моим боярам гоняю. А Романовых-бояр кто же на Руси не знает?

— Так вы романовские? — как-то особенно многозначительно протянул харчевник.

— Ну, да! Романовские холопы, из-под костромских вотчин запас им везем! — подтвердил Сусанин, не вникнув в смысл заданного ему вопроса.

Но харчевник и руками замахал.

— Нет, нет, голубчики! Ступайте, ступайте дальше!..

И тоже юркнул в калитку.

— Да что они тут, белены, что ли, объелись, живоглоты проклятые? — воскликнул Иван Сусанин, пожимая плечами, и тронул своего мерина с места.

Но, к величайшей своей досаде и крайнему изумлению, он встретил такой же недружелюбный прием и еще от двух-трех следующих харчевников, наотрез отказавшихся впустить их и во двор, и в избу, и только один из них указал на другую сторону улицы и сказал Сусанину:

— Вон попытайте разве к Арефьичу постучаться. Авось тот вас пустит, которую уж

неделю без постояльцев сидит... Чай, у него животы подвело.

Сусанин с обозом двинулся к Арефьичу, постучал в его ворота кнутовищем, и на пороге калитки тотчас явился сухощавый, корявый мужичонка с жидкою бородкой, в рваном зипунишке, и без всяких расспросов распахнул ворота и, низко кланяясь Сусанину, проговорил скороговоркой:

— Милости прошу с холоду в наше тепло, Божьи люди!

— Насилу-то на крещеного напали! — проворчал Сусанин, поворачивая своего мерина в ворота и въезжая под дырявую крышу двора.

Полчаса спустя кони у обозников были выпряжены и, прикрытые рогожками, привязаны к столбам двора, а все романовские холопы сидели в низкой и темной избе Арефьича, теснясь на узких и грязных лавках около плохого стола, на который хозяйка поставила корчагу пустых щей да жбан жиденького квасу, а рядом с корчагою положила две больших ковриги ржаного хлеба, пододвинула деревянную солонку и подала два ножа да с дю-

жину крепко потертых и почерневших ложек.

— Не взыщите, голубчики! — говорил при этом скороговоркою хозяин, также суетившийся около стола. — Хлеб-то у нас с мякиной. Да и щи-то тоже, чай, не по вкусу вам... Мы к дорогим гостям необычны, всех у нас богатеи наши отбивают — вон Кокша Семен, да Нилка Журавль, да...

— Ну, что пустое мелешь! — перебил его Сусанин. — В дороге какой уж взыск! И с мякиной хлебушка поедим. У нас ведь и свой домашний в возах-то есть, да так замерз, что его и не угрызть... Хлебом нас не удивишь, мы, слава Богу, у наших бояр всем сыты и довольны!

— А кто же ваши бояре будут? — спросил хозяин, помаргивая своими маленькими глазками.

— Мы романовские... Из костромских ихних вотчин с запасом на Москву едем. Чай, Романовых-бояр знаешь?

— Романовых? — протянул Арефьич. — Да это какие же Романовы? Опальные, что ли? Аль другие?

У Ивана Сусанина густые брови сурово сдвинулись. Он поднял голову и, смерив Арэфьяча глазами, проговорил строго:

— Кабы я не в твоём тепле да не за твоим столом такое бы слово от тебя услышал, так я бы только глазком своим ребятам мигнул, от тебя и от твоей избенки праху бы не осталось!

— Да что ты? Что ты? Братан крестовенький! — затараторил хозяин, напуганный и взглядом, и словами Сусанина. — Вы, значит, дальние, до вас и не дошло! Не знаете вы, значит, о боярах своих?

У Сусанина и ложка из рук выпала, все спутники его тоже переполошились.

— Да что же? Что с боярами нашими приключилось? Какая беда на них стряслась? Говори скорее! — крикнул Сусанин, поднимаясь с лавки.

— А как тебе сказать уж, право, и выговорить-то страшно! Наше, вестимо, дело сторона, а слух такой с Москвы идет, что на них опала царская. За приставы все взяты... Именье все и животы на государя отписаны, а их холопей точно что не приказали ни укрывать, ни на службу принимать... Вот почему и

богатеи наши тебе ворот не отперли!

Слыша это, спутники Сусанина поднялись из-за стола и окружили хозяина плотною гурьбою.

— С нами крестная сила! — шептал Сусанин, крестясь и слушая невероятные речи харчевника. — Что такое, откуда на наших бояр туча грозная нагрянула?

И он в недоумении огляделся на своих спутников, молча стоявших кругом него.

— Да вот постой. Постой, стар человек! Вот кто тебе лучше моего рассказать сумеет! — проговорил вдруг юркий харчевник и метнулся в сторону к полатам, с которых свешивался край грязной овчины и торчали две босые ноги.

— Эй, дядя! А, дядя! — стал кого-то кликать Арефьич, привстав на приступок у печки и хватаясь за одну из этих босых ног. — Дядя, вставай скорее!

— А? Что? Чаво тебе? — слышался чей-то хриплый спросонья голос.

— Вставай, вставай скорее!.. Добрые люди тебя спрашивают, землячки твои.

— Земляки? — И спавший на полатах заво-

рочался и стал с них медленно и осторожно спускаться, пожимаясь и почесываясь и по пути натягивая на себя зипунишко.

— Костромской тоже, — шепнул Арефьич Сусанину, мотнув головою в сторону человека, который наконец спустился с полатей и стал около лавки, протирая глаза и оглаживая густую бороду с проседью.

— Батюшки! Да, никак, Степанушка. Степан Скобарь? — воскликнул Сусанин, протягивая руки земляку.

— Сусанин? Староста домнинский? — отозвался Степан. — Вот встреча-то! Привел Господь, где столкнуться!

И старики поздоровались по-приятельски и присели на лавку, между тем как молодежь все еще стояла и не смела присесть за стол без Сусанина.

— Изволишь видеть, бос и наг на родину бреду! — проговорил Скобарь, показывая свой зипунишко. — Да и тому-то рад, что цел ушел. Не знаю сам, как вынес Бог.

— Да что случилось-то, скажи, сделай милость? — нетерпеливо перебил его Сусанин.

— Беда, друг, неминуемая! Словно гроза Бо-

жия на наших бояр обрушилась! Молоньей выжгло, громом побило бы, легче было, ка- жись...

— Да где бояре-то?

— За приставами, по тюрьмам все... А Фе- дор-то Никитич да князь Иван Черкасский и в застенке побывать успели... Боярыня в мо- настыре, тоже за решеткою посажена, и дет- ки с нею...

— И Мишенька, любимчик наш? — дрог- нувшим голосом спросил Иван Сусанин.

— И Мишенька с сестрицей и все их роди- чи, приятели, знакомцы...

— А мы с тобой, Богдаша, — обратился Су- санин к красавцу зятю, — мы-то Мишеньке салазки нарядные везли в гостинец!

— Не до гостинцев им, брат, теперь, горе- мычным! — грустно сказал Степан. — Не бога- че нас с тобою! Добро их все разграблено: кое в казну, кое и мимо, по рукам пошло... Име- нье и животы боярские на государя отписа- ны... А что уж нам, холопам, претерпеть при- шлось и от приставов, и от стрельцов, и от по- дьячих, что было на Москве об наши спины обломали, допрашивая нас да добиваясь меж

нами предателей... Да ничего поделывать не могли: изветчиков-то не нашли, хоть били, и пытали, и голодом морили нас... Вот покажи, мол, против бояр своих!.. Ну невтерпеж пришло, кто мог ушел. Пустились в бега, и я тоже, к вам на родину иду.

— Да за что же? За что вся эта напасть? — воскликнул Сусанин, хватая крепко Скобаря за руку. — Скажи, за что?

— Никто не знает... А так между речей допросных можно было понять, что обвиняют бояр наших в злых умышлениях на царя Бориса, на его государское здоровье. Коренья будто какие-то в их кладовых объявились, Бартенев-ключник и донес.

— Злые люди, значит, обнесли их, да и коренье лютое им в улику подкинули? — догадался Сусанин.

— Уж не иначе, как так, — печально проговорил Скобарь, разводя руками. — Мы ли своих бояр не знаем?

Оба старика в унынии опустили головы.

— Но как же быть теперь? Как мне-то быть? — заговорил немного спустя Сусанин. — Куда же мне-то с их боярским добром

деваться?

— Да коли хочешь доброго совета моего послушать, — сказал Степан Скобарь, — так придется теперь же и поворотить тебе оглобли... Если вздумаешь добратся до Москвы, как раз ярыжкам в лапы угодишь. Добро боярское попусту загубишь да и сам-то тоже уйдешь ли цел от лиходеев? Пожалуй, ничем не побрезгуют, чтобы только напитать свою утробу ненасытную.

Сусанин опустил голову на руки, посидел с минуту в раздумье, потом поднялся с лавки и, крестясь на иконы, произнес дрожащим голосом сквозь слезы:

— Помилуй, Господи, бояр наших!.. Избави их от всякие муки и напасти... Спаси и сохрани в бедах...

И, опустившись на колени, положил земной поклон, его примеру последовали все его спутники. Затем Сусанин поднялся, отер полую слезы, наворачнувшиеся ему на глаза, и сказал:

— Ну, братцы, видно, последние времена пришли... Видно, придется стонать Русской земле и терпеть великие беды, когда у лихо-

деев на наших бояр Романовых руки поднялись... Быть бедам, быть бедам!

И могучий старик, потрясенный глубоким горем, опустился на лавку в тяжком унынии.

II

В СЕВЕРНЫХ ДЕБРЯХ

Сerenький и очень прохладный денек, прохладный для июня месяца, чуть не в самые Петровки, близился к полудню. Солнце, скудное лучами, то скрывалось за облаками серыми и холодными, то выглядывало из-за них ненадолго и обдавало ярким светом Мурьинский погост на Белоозере, широкий водный простор и темную, мрачную полосу старого хвойного леса, который местами сплошной массой надвигался на самый берег, так что сердитые волны обмывали, плеща и шумя, корни прибрежных вековых сосен и елей.

Мурьинский погост был бедным поселком в том крае. Пять-шесть рыбацких хижин лепились по отлогому скату берега, выдвинув к самому берегу черные бани. Крошечная церквушечка в виде пятистенка с высокою дву-

скатною кровлей, украшенной небольшой главкой, крытой чешуйками, с деревянным покосившимся крестом наверху. Рядом с церковью попов дом, крытый соломой, и еще две избы, обнесенные одним общим частоколом. Вот и весь поселок. А если добавить к этому еще два гумна на задворках, да три-четыре амбарушки, да с полдюжины рыбачьих челнов на берегу, около которых на перевесищах постоянно сушились всякие рыболовные снасти, то мы получим полную законченную картину этого жалкого уголка, заброшенного в дикой лесной глуши за Белым озером, уголка, забытого всеми и как бы созданного для забвенья.

Как раз около полудня мурьинский поп, старик лет шестидесяти, стал снаряжаться на озеро за рыбой и кликнул внука, шустрого мальчика лет двенадцати, своего постоянного спутника в поездках по озеру.

— Вася! А Вася! Тащи-ка весла на берег, да захвати кошелку для рыбы, и прикормку не забудь... Я за тобою следом...

А сам по давнему обычаю заглянул в старые, рукописные святыни, в которых вел на

полях запись важнейшим событиям своей немудреной жизни, и прочел:

«Мучениц Феклы, Марфы и Марии, преподобного Кирилла Александрийского, преподобного Кирилла Белозерского...»

Сбоку было приписано: «В сей день присланы к нам на житье, по указу великого государя, опальные: князь Борис Черкасский с супругою, боярыня Ульяна Романовна, боярышня Анастасия Романовых же, да боярченок Михаил Федоров, младенец, с сестрою Татьяною, отроковицею».

Рядом было приписано: «Великий улов рыбы в канун сего дня».

«Вот оно что! — подумал старый поп. — Значит, год завтра минет, как в ссылку к нам бояр прислали... Время-то как летит!.. Вот, вот и попытаем мы сегодня закинуть около сухмени, где прошлым годом улов-то был богатый!»

И весь поглощенный мыслью о предстоящей ловле, старик натянул на плечи суконный кафтан, перекрестился на иконы и вышел на крылечко. Здесь он бережно стащил с крыши свои заветные удочки, прихватил са-

чок и направился мимо церкви к берегу.

«Э-э! Да вот и сам князь Борис, никак, тут и есть», — сказал про себя поп, поравнявшись с церковью.

— Что, князь Борис, на солнышко погреться вышел? — окликнул он издали высокого и худощавого мужчину, в суконном колпаке и поношенной суконной однорядке, сидевшего на песчаном бугре под откосом берега.

Князь оглянулся на старика попа и, обменявшись с ним поклоном, сказал:

— Где уж нам на вашем солнце греться?.. Мы к другому солнцу привычны.

— Не обжился еще, князь! — добродушно заметил поп. — А вот как с наше проживешь здесь, так и полюбится.

— Спасибо на добром слове, — с горькою усмешкою отозвался князь и, чтобы переменить разговор, спросил: — Знать, на озеро собрался?

— На озеро... Вишь, в святцах у меня записано, что в прошлом году об эту пору был улов богатый у меня... Вот и хочу попытать сегодня закинуть на боярченково счастье, на Мишенькино.

— Что ж, попытай! Вон они на берегу с Танюшей около челнов в песочке роются, камешки собирают.

И он проводил попа глазами до челнока, уже сдвинутого в воду внуком, посмотрел, как он в него уселся, уложил у себя под рукою снасти и, ловко подгребая внуку веселком, направил челн к длинной гриве камышей, черневшей в полуверсте от берега.

— Танюша! Миша! — крикнул потом князь, поднимаясь с бугра. — Пойдемте-ка домой!.. Чай, тетка-то уж обедать собирает.

— Бежим, бежим, дяденька! — зазвенели снизу серебристые голоски детей, и князь не успел еще пройти и двадцати шагов, как его нагнала девочка лет восьми, русоволосая, быстроглазая и худенькая, и с нею румяный и курчавый мальчик лет пяти, которого она тащила за руку.

— Пойдем, пойдем скорее, Миша! — торопила его девочка. — Покажи-ка дяде, что мы с тобой набрали!

— Дядя, дядя, посмотри-ка! — радостно крикнул мальчик, теребя князя за полу его однорядки и показывая ему камешки и рако-

винки, которых он успел набрать полную шапку.

— Смотри какие, дядя! — пояснила девочка. — Все разноцветные: и черные, и серые, и красные... А в раковинах все улитки сидят.

— Улита, улита! Высунь рога, дам пирога! — пресерьезно проговорил мальчик, приглядываясь к одной из раковин.

Князь улыбнулся.

— Не сули ей, Миша, чего у тебя самого нет. Мы с тобой и сами больше года пирогов в глаза не видим, — сказал князь, трепля мальчика по щечке.

Между тем они подошли к избам, огороженным частоколом, вошли калиточкой во двор и уже подходили к крылечку, когда дверь в избу распахнулась и из нее вышла на крылечко милостивая девушка лет восемнадцати в старой полинялой ферязи брусничного цвета и в поношенной телогрейке, накинутой на плечи.

— Вот и тетя Настя идет за нами! — весело закричали дети и побежали навстречу своей любимой тетке, родной сестре их отца Федора Никитича Романова и его братьев, разослан-

ных в дальние ссылки.

— А и точно за вами послала княгинюшка! — проговорила мягко Настасья Никитична, лаская деток. — Боялась, чтб похлебка у ней простынет, грибная, славная такая уварилась! Да и блинцы ржаные перестоят.

— Идем, идем! — сказал князь, ускоряя шаг.

В избе, переделенной перегородкой, было и тесно, и бедно, хотя чистота царила повсюду поразительная. Притом и тепленько было, и воздух был наполнен запахом печеного хлеба, который стряпуха под наблюдением самой княгини вынимала из печи, и ароматом грибной похлебки, от которой клубом валил пар.

— Ну, слава Богу! Все в сборе! — проговорила, добродушно улыбаясь, княгиня Черкасская, полная и все еще красивая женщина лет под сорок. — Одной Уляше неможется — лежит бедняжка... Извелась совсем, тоскуя по муже, по братце Александре Федоровиче... Ну, Танюша, читай молитву.

Танюша прочла молитву, и все сели за стол, покрытый чистою, но грубою браниной,

и стали кушать из одной общей деревянной чашки, похваливая похлебку в честь и утеху хозяйке. Особенно охотно ели дети, набегавшиеся с утра, и княгиня, любуясь на них, не раз их гладила по голове.

— Кушайте, кушайте, детушки, на здоровье, — приговаривала она, пододвигая им ломти хлеба. — Там ведь у нас еще только блинцы ржаные с гороховым кисельком.

Когда стряпуха подала на стол эту вторую перемену, князь только посмотрел на деревянное блюдо, на котором блинцы лежали стопками, и на глиняную латку с киселем и отвернулся, поморщившись.

— Ан нелюбы, голубчик? — спросила его княгиня, ласково прикасаясь к его руке.

— Припомнилось мне, матушка, — сказал ей князь, — что этого кушанья, бывало, и холопы не едали на нашем московском подворье.

— Э-э, милый! То на Москве, а то на Белозере... Мы и за такую яству Бога благодарить должны... А помнишь ли, как нам вначале пристав-то наш, злодей, и Мишеньке с Танюшей молочка не давал, в яичках им отка-

зывал, пока его по царскому указу не образумили?.. Да и почему ты знаешь, есть ли у брата Федора Никитича да у сестрицы Ксении Ивановны и такая-то еда?.. Им, горемычным, каково?..

Танюша вдруг обратилась к тетке-княгине с вопросом:

— А где же теперь батюшка с матушкой? Когда мы к ним поедем?

— Далеко они от нас, не скоро до них доедешь! — с грустью проговорила Настасья Никитична, закрывая лицо руками.

Дети взглянули на нее и разом расплакались неутешно.

— Полно, полно, детушки! — ласково заговорила княгиня, привлекая к себе и Мишу и Танюшу и целуя их нежно. — Вот погодите: скоро от царя указ придет, чтобы всем нам немедля отсюда к маме ехать... Озером на ладьях и поедем. А от мамы уж и до отца недалеко — рукой подать...

И так ласкала и уговаривала, пока не отвлекла внимания их от мысли о тягостной разлуке с отцом и матерью и не сманила их на двор порезвиться и побегать.

Когда дверь в сенички захлопнулась за детьми, княгиня обратилась с укором к сестре Настасье Никитичне:

— Ну как тебе не грех, разумница? Детей сбиваешь с толку: напоминаешь им о наших бедах и горе! Что ж ты, как и Ульяна, выше Бога, что ли, хочешь стать? Его ли святой воле не хочешь покориться? Он, чай, лучше нас с тобою знает, чем наградить нас, чем покарать...

— Сестрица, голубушка! — проговорила, всхлипывая, Настасья Никитична. — Ох, уж тошнешенько приходится! Во всем нужда, во всем недостача! Обувь с ног валится, платишко с плеч просится, заплаты на нем положить, и той нечем! Намедни у пристава Христом Богом конец холста деткам на рубахи просила — и того не дал!.. Ох, горе, горюшко лютое!..

И она пуще прежнего залилась слезами.

— Всякое горе переходчиво, так думать надо, сестрица! — спокойно продолжала княгиня. — Бог даст — и над нами воссияет солнце красное... Ну что ж? Пожили мы в холе, в богатстве, в радости светлой, должны пожить и

в горести лютой, не гневя Бога. Так ли, соколик? — обратилась она к мужу, заглядывая ему своими умными и добрыми глазами в самые очи.

Князь не выдержал ее взгляда, обнял и поцеловал ее.

— Утеха ты наша! — проговорил он растроганный. — Кабы не ты, что бы и было с нами!

— Ладно, ладно! Слыхала уж это я... Ну теперь, Настасьюшка, давай-ка со стола собирать! — заговорила княгиня, поднимаясь с места и поспешно принимаясь за уборку. — А там, Настасьюшка, не мешкая, засядем детские обноски штопать для Мишеньки с Танюшей.

И обе сестрицы деятельно погрузились в заботы и хлопоты своего бедного домашнего быта, забывая среди них о своем общем горе. Они и не заметили, как промелькнул за делом часок-другой, и уж собрались звать деток в избу, как их веселый крик и говор раздался на крылечке и в сенях. Дверь распахнулась настежь, и Миша с Танюшей, раскрасневшиеся, с радостью вбежали в избу с криком:

— Смотрите, дядя с тетей, что нам несут!

Смотрите, какую рыбу!

Действительно, следом за ними переступил порог избы Вася, попов внук, и с поклоном подал князю корзину, из которой торчала голова и свешивался хвост огромного леща.

— Вот это дедушка тебе шлет... Приказал сказать, что на Мишенькино счастье закидывал, так вот этого леща вытащил. А тут еще с десяток окуней под ним. Страсть сколько none рыбы нам попало...

— Ай да отец Петр, какой мастер! Поди ж ты! — сказала княгиня, принимая от мальчика рыбу. — Кланяйся ему от нас, скажи, что мы благодарим его за дорогой гостинец.

— Ладно, скажу, — ответил мальчик и скрылся за дверь.

— Ай да Миша! Какой счастливчик! Глядите-ка, какая ему на долю рыбина досталась! — продолжала княгиня, поглаживая курчавую головку Миши, который все еще не мог оторваться от принесенной рыбы. — Вот у нас на завтра какой обед богатый: и уха из окуней, и лещ на жареное. Ну, муженек, пожалуй, завтра за обедом и ты от деток не отстанешь, не

уступишь своей доли?

Князь улыбнулся на намек жены, а дети настояли на том, чтобы им было дозволено самим снести попов гостинец напоказ больной тете Ульяне.

Княгиня Марфа Никитична посмотрела им вслед и проговорила как будто про себя:

— Вот так-то и все в жизни: за горем радость, за слезами смех. Не нам дано жизнь строить, нам дано ее сносить.

Дальше, гораздо дальше Мурьинского погоста, на сотни верст севернее его, в дремучих заонежских лесах заброшен другой, еще более бедный и ничтожный погост Толвуйский, в который сослана была несчастная мать Миши и Танюши, супруга именитого боярина Федора Никитича Романова, Ксения Ивановна. Вдали от Онежского озера, окруженный непроходимым диким бором, погост этот лежал, что называется, на краю белого света. Едва проходимый, узкий проселок упирался в этот погост, но не шел дальше, идти было некуда. Дальше шли только лесные тропки, по которым в нескончаемую лесную глушь решался проникать лишь смелый зверолов,

знакомый с лесными знаменьями и руководимый своею чуткою лайкой.

Общий вид погоста был еще более жалкий и убогий, чем в Мурьине: и церквушечка крошечная еще беднее, и население еще меньше, а жизнь его временами даже совсем замирала в ту пору, когда мужики-звероловы уходили в леса, оставляя дома только баб да детей, и несколько пробуждалась только дважды в год, когда наезжали в Толвуй пять-шесть кулаков-скупщиков забирать у толвуйцев пушной товар, выменивая его на всякую всячину.

И в этой-то заглохшей, дикой трущобе заключили молодую женщину, знатнейшую из боярынь московских, избалованную удобствами и роскошью жизни, разлучив ее с горячо любимым супругом, с детьми, со всеми дорогими и милыми ей людьми, со всеми радостями жизни. Разлучили, даже лишив всякой надежды на то, что она когда-нибудь к этим радостям вернется, даже отняв у ней право этими радостями пользоваться потому, что накануне ссылки ее насильно постригли в монахини, а ее супруга силою принудили произнести иноческий обет: царский родич и

из бояр боярин Федор Никитич Романов обратился в смиренного инока Филарета, а его супруга, боярыня Ксения Ивановна Романова, в смиренную инокиню Марфу.

И вот уже более года протекло с тех пор, как она была поселена в своем далеком заточении, погребена заживо в эту могилу... Она жила в четырех стенах своей тесной кельи, темной избы, заменившей ей боярский, светлый, разукрашенный терем, и никого не видела, кроме бабы-старухи, приставленной к ней в виде прислуги, и того пристава, который привез ее в Толвуй.

Этот верный и сановитый господин дважды в день считал своею обязанностью заглянуть в избу невольной затворницы. Сначала приотворит дверь из сеней и, не снимая шапки, просунет голову и всю избу окинет беглым взглядом, потом отворит дверь настежь и войдет важно-преважно, шапку с головы снимет, но голову задерет высоко-превысоко и раза два козырем обойдет избу, заглядывая во все углы. Потом обернется к бабе-стряпухе и непременно скажет ей наставительным тоном:

— Смотри, печь соблюдай, чтобы инокиня не угорела, грешным делом, — и выйдет, притворив за собою дверь.

Эти посещения единственного живого лица извне были так однообразны, так неизбежно повторялись в одни и те же часы дня, что инокиня Марфа давно уже перестала их замечать, как и вообще не замечала той однообразной смены ежедневно повторявшихся явлений, которые и составляли ее печальную действительность. «Бысть утро, бысть вечер — день первый», и день «второй», и день «сотый», и эти дни тянулись перед ее очами, как нечто серое, мутное, неопределенное и нескончаемое... «Вчера» ничем не отличалась от «сегодня», «сегодня» от «завтра», и так далее, и так без конца и края, словно ее в закрытом наглухо возке везли и везли по какой-то нескончаемой дороге, на которой даже и скрипа полозьев не было слышно, даже и толчки, и ухабы не давали себя чувствовать... Она переживала то ужасное нравственное состояние, которое часто следует за каким-нибудь несчастьем или целым рядом оглушительных ударов судьбы, не заслуженных че-

ловеком, состояние, когда все силы духа замирают и вся нервная деятельность человека притупляется до того, что внешние впечатления как бы перестают существовать для страдальца и скользят мимо него неслышными и незаметными тенями.

Несчастливая инокиня, которая каким-то чудом перенесла все пережитое, упустила даже возможность жить воспоминаниями о минувшем. Она как будто все, все забыла, и ей не только наяву не вспоминалось прошлое, но даже и в сонном мечтании не представлялось ничего, что могло бы вывести ее из тяжелого оцепенения, освободить ее хоть на время от невыносимого гнета, лежащего у нее на душе. И тогда, когда благодетельный сон ненадолго смежал ее усталые веки, она не видела снов, а видела только отражение той же в течение дня пережитой действительности: баба-стряпуха возилась у печки, сверчок трещал где-то в углу, пристав ходил козырем по избе, пар валил с мороза в избу сквозь приотворенную им дверь в сени... И только.

Все, что составляло для нее когда-то радость, свет, счастье, утеху жизни, умерло, ото-

шло куда-то в неизвестную даль, потонуло в непроглядном тумане и хаосе того, что представляется человеку смертью... Ей казалось, что умер у нее муж, дети, умерли родные и близкие и она одна осталась на земле, осужденная тянуть какую-то нестерпимую муку... И вот все будущее ее, все цели и стремления души сводились теперь только к одному вопросу: «Да долго ли еще? Да будет ли конец?»

Величайшим счастьем для нее (можно даже сказать — спасеньем) было бы такое потрясение, которое заставило бы ее плакать и сокрушаться о том, что она утратила, но такого потрясения быть не могло... Если бы ее пришли известить о смерти близких и дорогих людей, она бы даже удивилась этой странной вести, они для нее давно уже умерли... Все умерло! И она сознавала, что ее слезы уже давно иссякли и что никакое горе не заставит ее больше плакать. И самая молитва — та горячая, чудная молитва, в которой она когда-то так любила изливать свою душу, — здесь иною стала... И утром, и вечером, на сон грядущий, становясь на колени перед иконою, инокиня Марфа по привычке, по без-

отчетному сознанию какого-то долга, читала молитву, кланялась и крестилась, но слова молитвы представлялись ей какими-то не вполне понятными звуками... Ее уста эти слова произносили, а ей казалось, словно они доносятся к ней откуда-то издалека, как доносится иногда до нас песня; и звучны, и слуху льстят, но не внятны, незнакомы эти звуки, и не шевелят нашего сердца, не хватают за живые его струны.

Так жила она, томясь жизнью, одинаково равнодушная ко всему, и дожила до лета 1602 года, до лета, которое заглянуло в Толвуй не раньше Петровок...

III

ЛУЧ СВЕТА ВО ТЬМЕ

Случилось как-то, что старуха баба, прислу- живавшая инокине Марфе, невыносимо начадила в избе, и притом как раз в такое время, когда обычно заглядывал в избу пристав. Тот заглянул и тотчас раскричался на старуху, а к инокине Марфе обратился со словами:

— Изволь-ка выйти на крылечко... Да побудь там, пока я здесь чад выпущу в сени... А то еще угоришь, и мне из-за тебя в ответе не быть бы...

Она повиновалась беспрекословно, и вышла на крыльцо, и странное вдруг испытала чувство... Это был первый ее выход с начала весны, солнце светило ярко, от леса тянул легкий ветерок, насквозь пропитанный смолистым ароматом сосен и елей, птички, какие-то малюсенькие краснозобые птички, превесело перепархивали с куста на куст, с дерева на дерево, старательно и неутомимо выводя и высвистывая свои незатейливые

гармонические песенки.

Инокиня Марфа присела на крылечке и даже сама себе удивилась: она и птичек заметила, и даже песенку их как будто запомнила... И у ней на мгновение мелькнула в сознании мысль: «Птички сюда издалека летели, и на Белом озере были...»

— Ступай-ка в избу, там теперь чаду нет, — раздался над нею голос пристава, и его слова прервали нить ее мыслей на полуслове.

Она машинально поднялась и, не оглядываясь кругом, вернулась вновь в свою могилу. И ей даже на память не пришли те мысли, которые были навеяны на нее щебетанием птичек.

После этого прошло еще около месяца. И вдруг произошло нечто совсем необычайное: пристав не явился как-то ни разу. Не явился и на другой день... Даже инокиня Марфа это заметила и уже собиралась о нем спросить, как вдруг дверь отворилась настежь, и в избу без шапки вошел пристав и не стал ходить козырем вокруг да около, а стал около притолоки навтыяжку и пропустил в избу какого-то другого мужчину средних лет и благообразной

наружности. В руках у того был какой-то свиток.

— Это, что ль, инока Марфа? — спросил новоприбывший вполголоса у пристава.

— Она самая и есть, — отвечал пристав. — Изволь-ка встать, — продолжал он, обращаясь к затворнице, — государева указа слушать...

Она поднялась с лавки так же машинально, как тогда по приказу пристава поднялась с крылечка, и приготовилась слушать, совершенно равнодушная к тому, что ей собирался читать посланец государя.

«Куда же еще меня сошлют? В Соловки, в Пелым?» — смутно мелькнуло в ее сознании.

И она стала слушать, не вникая, почти не отдавая себе отчета в словах, долетавших до ее слуха.

— А посему изволил великий государь, — громогласно читал посланец, — по неизреченному своему милосердию и благости, изменника своего, жену, Ксению Ивановну, а в иночестве Марфу, помиловать... Приказать ее из Толвуйского Заонежского погоста отправить на Белоозеро, где сосланы живут ее, Мар-

фы, дети, да его же, изменника государева, сестра и зять... А оттоле всех их вкупе сослать, не разлучая, в Юрьев-Польский уезд, в вотчину Клин, что прежде было Романовых, а ныне на него, великого государя, отписана.

«Что это он читает? Зачем он издевается надо мною? Зачем мучает?» — зашевелилось в душе у инокини Марфы.

— Слышала, чай? — нетерпеливо спросил пристав, удивленный молчанием несчастной и недоумением, которое выразилось на ее лице.

Но тот, что читал указ государев, по-видимому, понял тягостное внутреннее состояние инокини Марфы, он стал неторопливо и спокойно истолковывать ей прочтенное. Когда он объяснил, что ее приказано везти на Белозеро и разрешено ей жить с детьми, она вдруг страшно вскрикнула и, как сноп, повалилась на землю.

— Ну-у! Наделал дела, растолковал! — воскликнул пристав и бросился приводить несчастную в чувство.

Когда же она наконец очнулась и пришла в себя, тогда стала Христом Богом молить,

чтобы ей еще раз был прочитан указ государев, и посланец его прочел и добавил даже, что везти ее приказано из Толвуя немедленно и чтобы она была готова в путь назавтра спозаранок.

И вот в тот день вечером, после того как окончены были ее немудреные сборы в дорогу и весь ее бедный скарб был связан в два небольших узла, она в первый раз после поселения своего в Толвуе молилась сознательно, горячо, молилась, влагая всю душу в слова молитвы, и когда дошла до молитвы «Утешителю, Душе Истинный», то почувствовала какую-то необычайную сладость в душе и потом на щеках своих что-то жгучее, горячее... И эти первые слезы после нескончаемо долгого оцепенения сняли камень с души ее: она проплакала всю ночь, и она была одною из счастливейших в ее жизни.

Лето шло к концу. «Илья» был на дворе. С Белоозера начинали подувать резкие и холодные ветры, а утром и вечером все видимое из Мурьинского погоста пространство озера заволакивалось густыми туманами. Княгиня Марфа Никитична уже не выпускала Ми-

шеньку и Танюшеньку на берег иначе как после полудня, пока еще хоть немного пригревало солнышко, да и то нарядив детей в теплые кафтанчики, которые она выхитрила и выкроила им из своей старой камчатой телогрейки, а сестрица Настасья Никитична с Ульяной Семеновной сшили деткам.

Всех мурьинских опальных немало удивляло одно недавно проявившееся условие их одинокой и горемычной жизни в далекой ссылке: их пристав, человек придирчивый и мелочный в исполнении своих обязанностей, как-то вдруг изменился к лучшему в своих отношениях к Романовым и Черкасским. Бывало, прежде он пребывал безотлучно в Мурье, следил за каждым шагом князя и княгини, ворчал даже на выходы их в церковь, урезывал отпускаемые на содержание им запасы и вступал в препирательство из-за каждого пустяка. Но после одной недавней поездки в Белоозерскую обитель вдруг почему-то смирился и смягчился в своих отношениях к ссылке, стал реже являться к ним и избегал с ними неприятных столкновений. Сверх того, и отлучаться из Мурьи он стал чаще прежне-

го и в отлучках оставался дней по пяти и даже по неделе.

— Что за притча такая? — говаривала не раз мужу княгиня Марфа Никитична. — Пристав наш совсем к нам иной стал! Уж не пришел ли ему какой указ через обитель? А то игумен его тамошний не пристыдил ли?

— Да, да! — соглашался с женой князь. — Совсем иной... И точно будто даже нас сторониться стал. А прежде ведь как, бывало, на скакивал, за частокोल носу высунуть не давал...

— Ну, пока что... А и за это благодарение Богу, — говаривала обыкновенно княгиня.

И князь пользовался своей свободой и каждый день перед обедом выходил на бережок, садился на свой излюбленный бугор и, вперив взор вдаль, глядя туда, где над линией водного пространства чуть-чуть чернела узкая полоска берега, уносился мыслями к родной Москве, раскинутой по своим живописным холмам, к ее златоглавым храмам и островерхим башням, к ее движению и шуму, над которым, господствуя, разносится вширь и вдоль чудный звон ее бесчисленных коло-

колов. И куда как горько становилось у него на душе, когда от этих своих мечтаний, от воспоминаний о былом житье-бытье, он вынужден был переходить к окружавшей его жалкой бедной действительности. Внизу о плоский и песчаный берег уныло и гулко плескалось серое и холодное озеро, солнце, тускло светившее из-за серых облаков, не оживляло его волн ни блеском, ни красками, невдалеке угрюмые рыбаки тянули сети, мерно ударяя по воде шестами, чтобы загнать рыбу в мотню невода... Все пусто, все серо, все грустно!

Так же точно сидел князь Борис на своем излюбленном бутре и накануне Ильина дня и думал по-прежнему свои невеселые думы на тему о суете и тщете всего мирского, когда к нему подошел отец Степан и после разных предварительных подходов и толков о погоде и об улове рыбы на озере вдруг перешел к предмету разговора, который, очевидно, очень его и занимал, и тревожил:

— Вот тут позавчерась странничек один мимо проходил, в Глухоозерскую пустынь пробирался... От нашего погоста до нее еще

верст с полсотни по болотам да по островам тропочка пролегает...

Старик поп приостановился, откашлялся, оглянулся по сторонам и, присаживаясь к князю на бугор, проговорил:

— Так вот он... этот самый странничек-то предиковинное нечто сказывал...

— Что же бы такое? — спросил князь. — Эти странники из конца в конец земли ходят, должны многое и видеть, и слышать...

— Да уж такое предиковинное, что даже и в ум не вмещается... Мы, конечно, люди темные, а вот ты человек бывалый и книжный, тебе виднее...

— Да что виднее-то? Что он тебе сказывал? Старик наклонился к князю и почти шепотом проговорил:

— Сказывал... будто антихрист в Литве за рубежом народился...

Князь Борис посмотрел в недоумении на отца Степана.

— Да ведь ты же по Писанию должен знать, что это перед кончиной мира будет?

— Ну, вот он, странничек-то, говорит, буд-то уж и об этом знаменья разные объяви-

лись...

— Кабы знаменья, так повсюду на земле были бы видимы, — попытался возразить князь Борис.

— Оно точно, что могли бы быть видимы, — таинственно продолжал поп-старик, опять понижая голос, — да, вишь ты, царь и бояре о знаменьях никому не приказали сказывать...

— Ну, это что-то на ложь похоже, отец Степан.

— Нет, погоди так говорить, послушай, что он дальше-то сказывал...

Попу, видимо, не терпелось, хотелось поскорее всю душу выложить перед князем Борисом:

— Сказывал, будто антихрист этот самый в образе Дмитрия-царевича родился...

— Какого Дмитрия-царевича?

— А углицкого... Что в Угличе убит злодеями...

— Да как же так? Тут убит, а там опять родился? — сказал князь.

— А вот поди ж ты! Враг-то силен... И родился, и грамоту царю Борису прислал. Пусти,

говорит, меня доброю волей на прародительский престол... А не пустишь доброю волею...

— Дядя, а дядя! — раздались с берега звонкие детские голоса. — Глянь-ко, глянь, какое суденко на озере!

Князь глянул по указанию деток и точно увидел вдали, верстах в двух от берега, какое-то суденко, которое резво бежало под парусом, подгоняемое по волнам свежим ветерком.

— Стружок бежит нездешний, — сказал отец Степан, приглядываясь попристальнее. — Такие вот по Шексне точно что ходят.

Между тем детки подбежали к князю с расспросами.

— Это что же белое, дядя? — спрашивала Таню-ша. — Точно крыло у птицы?

— Отчего оно идет так скоро? — любопытствовал и Миша.

Князь Борис постарался удовлетворить любопытству племянников, а между тем суденко уже обратило на себя внимание рыбаков и еще кое-кого в поселке.

Из двух изб посмотреть на диковинное суденко вышли и бабы, и дети.

— Не здешнее судно, шехонское, — толковали между собою рыбаки. — А нос сюда держит.

Появление такого судна в мурьинском плесе озера, по которому сновали только челны местных рыбаков, было, конечно, явлением чрезвычайной важности. Немудрено, что и князь поднялся с места и направился к дому, чтобы оповестить жену-княгиню и своячениц. И пристав, до которого уже весть о судне успела дойти, вышел из своей избы и степенно стал спускаться на берег.

«Нет ли тут чего такого... касающегося? Вестей каких не везут ли?» — думал он, собираясь уже принять кое-какие меры на случай.

Тем временем струг подошел уже и саженьях в пятидесяти от берега стал спускать парус. На нем нетрудно было различить даже лица тех пяти человек, которые на струге находились. Вскоре со струга закричали рыбакам:

— Давайте челны! Нам за мелководьем к берегу не причалить!..

— Подайте сначала один челн, — распорядился пристав, — а там видно будет.

«И что за люди? И чего им здесь надо?» — думал он не без тревоги, выжидая, когда незваные гости высадутся на берег.

Но все опасения его рассеялись, когда к берегу причалил челн, а из него вышел его старый знакомец, вологодский подьячий Софрон Шабров и, облобызавшись с ним, на вопрос: «Откуда Бог несет?» — ответил:

— Из Толвуя, с боярыней Романовой плыву и тебе о твоих боярах указ везу.

— Что? Что такое, братец? Говори скорее!

— А то, дружище, что и тебе с насиженно-го гнезда сниматься надо: приказано их в Юрьев-Польскую вотчину отправить.

— Всех вместе? — воскликнул пристав.

— Всех как есть!

— Ну, наконец-то избавил Бог от здешней медвежьей стороны... Так что же? Прикажи свою боярыню свезти сюда же поскорее.

Приказ был тотчас отдан рыбакам, чтобы ехали за инокиней и привезли бы ее вместе с приставом на берег. Но между тем, когда происходил этот разговор и отдавали приказ рыбакам, ни пристав, ни его приятель Софрон Шабров не заметили, как мальчик и девочка,

стоявшие невдалеке от них среди группы крестьянских детей, вдруг отделились от нее и бегом пустились по песчаному откосу берега к дому.

Шустрая и сметливая Танюша успела из беседы приятелей уловить несколько слов, которые показались ей настолько важными и многозначительными, что по ее соображениям необходимо было тотчас же сообщить тете и дяде и непременно тете Насте.

— Пойдем, побежим скорее! — шепнула она Мише, который ничего не успел расслышать и ничего не сообразил, но побежал следом за Танюшей и, судя по ее озабоченному, деловому виду, готовился услышать от нее что-то важное.

— Что он говорил? — спрашивал он неоднократно у сестрицы на бегу, но та только рукой от вопросов отмахивалась и прибавляла бега.

Раскрасневшаяся, запыхавшаяся вбежала она в избу и прежде, чем кто-нибудь успел на нее обратить внимание, она одним духом выкрикнула:

— Дядя! Тетя! От царя за нами на суденке

люди приехали!.. Указ привезли... Нас в другое место и нашего пристава в другое место... А маму сюда!

Миша, не желая отстать от сестрицы, тоже тревожно доложил:

— От царя приехали... На лодке приехали и... — решительно не знал, что следует ему сказать дальше.

— Ох, таранта! — с добродушным укором сказала княгиня. — Ну, что ты путаешь? Ну, где ты это слышала?

— Там слышала, — утвердительно настаивала Танюша. — Чужой пристав с нашим приставом говорил!.. Пойдите, сами посмотрите! Спросите их!

Произошло невольное и общее волнение, все всполошились, все заговорили разом, все собрались выйти из дома и посмотреть, что там на берегу творится.

— Ступай-ка опять да разузнай все хорошенько! — озабоченно заговорила княгиня Марфа Никитична.

— И я! И я! И мы с тобой тоже! — закричали Миша и Танюша, и вслед за князем все население боярской избы высыпало за часто-

кол, а князь, держа детей за руки, чтобы они не очень спешили и горячились, направился к тому месту, где пристав стоял около челнов с Софроном Шабровым!

В то время когда князь Борис, спустившись с откоса и понемногу все ускоряя шаг (потому что и его охватило какое-то невольное волнение), подходил к озеру, челн, подталкиваемый рыбаками на шестах, подплывал к берегу. В нем, кроме двоих рыбаков, князь различил еще какого-то плотного мужчину с черной окладистой бородою и женскую фигуру в темной одежде. Вот рыбаки в двух саженьях от берега вылезли из челна в воду и, облегая его, волокли на себе по прибрежному песку. Потом, почтительно и бережно поддерживая под руки своих седоков, высадили их на берег...

Тут только князь разглядел, что черты лица этой женщины знакомы ему... Сердце екнуло у него, но он не смел еще верить глазам...

Однако приезжая уже заметила его и детей и опрометью бросилась к ним навстречу с распростертыми объятиями.

— Детушки! Детушки мои дорогие! — воскликнула она, едва сдерживая душившие ее рыдания.

— Мама! Мама! — звонко крикнули детки и, вырвавшись у князя, понеслись ей навстречу.

IV

И РАДОСТЬ — НЕ В РАДОСТЬ

Прошло еще три года, и на Руси совершилось много важных событий. Царь Борис вступил в борьбу со смутой, которая ополчилась против него в лице загадочного Лжедмитрия, прикрывавшегося тенью невинно загубленного угличского страдальца. В самый разгар борьбы Борис умер, передав бразды правления в слабые руки юного Федора, который попытался продолжать борьбу дальше, но измена поднялась отовсюду, грозный враг одолел, и Федор Борисович пал в борьбе... Все это совершилось так быстро, что на окраинах Московского государства еще не успели получить вести о кончине царя Бориса, как уже дьяки и подьячие опять сидели за работой и

наспех писали во все концы Русской земли о кончине царя Федора Борисовича и о вступлении «на прародительский престол законного, прирожденного великого государя Дмитрия Ивановича».

Не скоро доходили эти важные вести и до отдаленных городов, лежавших на востоке и севере Руси, еще дольше, еще медленнее проникали они в отдельные поселки и обители, лежавшие в глухих местах. Потому и немудрено, что даже и тот дьяк, который был новым государем отправлен в Антониев-Сийский монастырь «с тайным делом», приехал в эту дальнюю обитель уже по первопутку и, надо сказать правду, насмерть перепугал старого игумена Иону.

— Ты, старче, кого в церкви Божьей за службой поминаешь? — спросил игумена дьяк, едва переступив порог обители и предъявляя ему свои полномочия.

— Как кого? Вестимо, господин дьяк, поминаю, кого нам указано: по преставлении царя Бориса поминаю законного его наследника, великого государя Федора Борисовича, и мать его Мар...

Дьяк резко перебил его на полуслове:

— Изволь это тотчас отменить и поминать ныне благополучно царствующего законного государя Дмитрия Ивановича. Вот тебе о том и указ от патриарха Игнатия.

Игумен вдруг изменился в лице: крайнее смущение выразилось в его широко открытых глазах, губы шевелились без слов и язык «прильпе к гортани»... Он долго не мог оправиться от своего волнения, не мог произнести ни звука, не решался даже принять патриаршей грамоты, которую ему протягивал дьяк.

— Что же ты? Читай грамоту...

— Не... не см...е...ю читать, го-го-спо-дин дьяк! — пробормотал игумен Иона, заикаясь от страха. — Не ведаю, о каком патриархе ты говорить изволишь... У нас господин патриарх Иов поминается.

— Ну, был Иов, а теперь Игнатий! Был царь Федор, да волею Божьего помре, ну, и теперь стал царем Дмитрий на Москве! Русским тебе языком говорят...

— Дозволь узнать, господин дьяк, — как-то особенно смиренно и униженно заговорил игумен Иона, запуганный строгим дьяком, —

и патриарх Иов тоже волею Божьею...

— Нет, не Божьею, а царскою волею сведен с патриаршего престола и заточен в Старицкий монастырь. Да читай же грамоту, там все написано!

Совершенно оторопевший и растерявшийся старик игумен взял наконец грамоту, стал ее читать, и дьяк видел, как тряслись его желтые сморщенные руки. Дочитав грамоту до конца, игумен положил ее на стол, перекрестился на иконы и, обращаясь к дьяку, сказал более спокойным голосом:

— Что еще приказать изволишь, господин честной?

Дьяк полез за пазуху и вытащил другой столбец.

— Здесь у тебя в обители находится посланный Годуновым опальный боярин Федор Романов, в иночестве Филарет...

— Находится, господин дьяк, и коли дозволишь правду тебе сказать, солоно всем нам от него приходится... Ох, как солоно!

Дьяк прищурил глаза, всматриваясь в лицо игумена, и процедил сквозь зубы:

— А почему бы так?

— Уж привередлив очень... Ничем-то на него не угодишь. Приказано нам было, чтоб у него в келье малый жил, как бы для услуги, нам чтобы его речи знать, и тот малый ему полюбился, и стал от нас его речи утаивать. Мы того малого из его кельи взяли, а вместо его старца Иринарха к нему послали, а он, изменник государев, на того старца и прогнался.

— Не изволь государеву родню таким словом обзывать, коли в ответе быть не хочешь! — строго заметил дьяк.

— Да какая он родня государю Федору Борисовичу? — возразил было растерявшийся игумен.

— Не Федору Годунову, которого в живых нет, а нонешнему, природному государю Дмитрию Ивановичу! И вот указ государя о том, чтобы инока Филарета из заключения здешней обители освободить, у пристава Войкова из-под начала взять и представить на его, государевы, очи.

Тут уж игумен Иона до такой степени растерялся, что только поклонился дьяку и развел рукой, как бы желая этим сказать: «Твоя,

мол, воля! Что хочешь, то и делай!»

— Веди же ты меня к нему немедля, указ государя ему объявить. А там уж от дальнего пути не грех отдохнуть.

— Пожалуй со мною, господин дьяк, — заторопился игумен Иона, очень довольный тем, что он хоть как-нибудь мог наконец избавиться от этой тяжелой беседы и скрыть овладевшее им смущение.

Он повел дьяка через монастырский двор, обстроенный пятью-шестью избами и не везде огороженный городьбою, местами развалившеюся, местами, очевидно, растасканною на топливо. На пути у одной из этих изб государева дьяка встретил пристав Воейков, суровый, высокий и худощавый человек. Низко кланяясь, он уступил дорогу в сени игумену и дьяку и поспешил отворить дверь из сеней в избу, служившую кельей Филарету.

Переступив порог избы и перекрестившись на иконы, дьяк увидел перед собою ссыльного инок, стоявшего у окна с толстой исписанной книгой в руках. Дьяк отвесил ему низкий поклон и невольно вперил в него изумленный взор...

Перед ним стоял высокий мужчина, лет под шестьдесят, сильно поседевший и исхудавший за последние годы тяжелой ссылки, но все еще прекрасный собою, осанистый и величавый. Большой ум светился в его темных, живых глазах, которые по временам загорались ярким пламенем и приобретали дивную, чарующую, подавляющую силу.

Густые, серебрившиеся сединою волосы волнистыми прядями спадали ему на плечи из-под простой черной скуфейки, а окладистая борода спускалась почти до половины груди на потертую и поношенную черную рясу...

Но могучая, прекрасная фигура Филарета производила в общем такое сильное впечатление, что нельзя было под этою убогой одеждой, среди этой убогой кельи, не угадать большого боярина, человека властного и гордого, привыкшего повелевать и внушать к себе уважение. Ответя спокойным кивком головы на поклон дьяка, Филарет, вероятно угадавший в нем посланца издалека, отложил книгу на аналой и устремил на дьяка потливый, вопрошающий взор.

— К твоей милости с указом государевым, — заговорил дьяк совсем не тем тоном, каким он говорил с игуменом Ионой.

— Читай, готов слушать.

Дьяк развернул столбец и стал читать указ великого государя Дмитрия Ивановича о том, что он, радея о благе всех своих родичей, повелеть соизволил всех бояр Романовых, а в том числе прежде всех Федора Никитича, в иночестве Филарета, из ссылки вызвать в Москву, возвратить им сан боярский и все отнятые у них Годуновым поместья и вотчины. Филарет слушал чтение дьяка с сосредоточенным вниманием, ничем не выказывая волновавшего его чувства. При имени «великого государя Дмитрия Ивановича» густые брови его сдвинулись на мгновение и в глазах мелькнуло что-то странное, не то удивление, не то презрение, но он не перебил дьяка ни одним вопросом, не справился об участии Годуновых, как игумен Иона... Даже не высказал радости ввиду освобождения от ссылки и заточения.

Дьяк кончил чтение и с поклоном подал указ Филарету, а он указ принял и сказал только:

— Благодарю Бога и великого государя за милость ко мне.

Дьяк помялся на месте и решился задать со своей стороны вопрос:

— Когда тебе угодно будет ехать? Мне приказано просить тебя пожаловать в Москву без всякого мотчанья[1] и не мешкая нигде в пути.

— Отдохни с дороги, — благосклонно ответил Филарет, — а я к пути всегда готов.

И опять ни в голосе его, ни в выражении лица не было ни тени волнения, радости или тревоги... Но зато и на игумена Иону, и на пристава Воейкова смотреть было жалко, так они вдруг опешили, принизились и растерялись. Когда дьяк, отвесив Филарету поклон, направился к дверям вместе с игуменом, пристав не вытерпел, вернулся из сеней в келью и стал отбивать перед Филаретом поклон за поклоном, приговаривая:

— Милостивец, не погуби!.. Если чем согрубил, не погуби, не взыщи на мне, окаянном!

— Взыскивать с тебя мне нечего... Ты исполнял волю пославших тебя, — спокойно и твердо сказал Филарет. — Иди с миром.

Пристав не заставил себе повторять это указание, инок Филарет желал остаться наедине с самим собою; кланяясь, он попятился к двери и скользнул за нее ужом.

Но когда дверь за ним закрылась и Филарет остался один в своей келье, он поддался вполне тому волнению, которое овладело им с первых слов выслушанного им указа и подавление которого стоило ему невероятных усилий воли. Он быстро подошел к окну, опустился на лавку, развернул царский указ и стал жадно пробегать его глазами.

«Великий государь Дмитрий Иванович! — шептал он про себя с улыбкой презрения. — Обманщик наглый... Ставленник польский и казацкий... И на престоле попущением Божьим... И где слава, где мощь всесильного лукавством царя Бориса?.. Темны и неизведаны пути Господни...»

И не льстили ему, не привлекали его те милостивые речи, с которыми обращался к нему новый «великий государь», дерзко и самовольно называвший его своим родичем, суливший все блага жизни... Ему легче было вспомнить обо всех ужасах перенесенной им

опалы, разорения и ссылке, нежели о тех почестях, милостях и богатствах, которые ему предстояло получить из рук самозванного царя Московского, каким-то невероятным чудом вознесенного на высоту престола.

— Но как же быть? Что делать? Как решиться идти на обман и об руку с обманщиком? А если не идти, если презреть его...

Мысль о жене, о детях, о свидании с ними вдруг властно вторглась в эти рассуждения и помыслы и вызвала слезы на глазах подневольного отшельника.

— Детушки, детушки милые! — воскликнул он почти громко и не мог сдержать рыдания...

Рыдая, опустился он на колени перед иконою Спаса, висевшей в углу, и стал молиться, и плакать, и изливать горячую исповедь души перед Богом, души, давно наболевшей от всех бедствий и зол, какие на него так обильно пролились за последние годы, на него, ни в чем не повинного, и так страшно, так беспощадно испытываемого судьбою! И вот теперь, вслед за этим горем и бедствием, надвинулась на него новая волна, против которой

еще труднее будет устоять, будущее манит его счастьем, свиданием с родными и близкими, манит мирскими благами, от которых он успел отвыкнуть, которые научился презирать... Но для того, чтобы достигнуть этого счастья и этих благ, надо было нарушить мир души своей, порвать с своею совестью, поклониться кумиру, который должно бы повергнуть в прах.

— Что делать, что думать мне? Куда стопы мои направить?! — скорбно взывал он в молитве своей, и луч света, озаривший душу его после долгого и восторженного умиления перед Всеблагим указал ему наконец выход из этой тьмы противоречий, лжи и обмана... — Кто знает пути Господни? Кто дерзнет похвалиться, что они ему ясны и видимы? Мирские блага меня теперь не соблазнят, и власть не привлечет меня, и суета не ослепит своим коварным блеском!.. Нет больше во мне боярина Романова: он обратился в инока смиренного, и это смирение должно теперь спасти меня от соблазна... Эта ряса, которую надел я против воли, которую я ненавидел долго, как тяжкие оковы, с которою потом я свыкся на-

конец и примирился... Это ряса, которую нельзя стряхнуть с себя и сбросить, как сбрасываем мы одежды мирские, она теперь послужит мне броней против зол и соблазна, она мне не позволит занять места на пиршестве иедавелином... И если даже я только детей своих спасу от уз обмана и лжи, укрою от зла, разве этого мало? Разве не стоит для этого идти туда, где зло водворилось, и зло и обман сносить до той поры, пока Господь не укажет ему предела, не потребит его гневом Своим?..

И он опять стал плакать, и молиться, и просить у Бога сил и помощи в предстоящей ему борьбе, и молился долго... День уж вечерел, когда он поднялся с молитвы успокоенный, примиренный со своею совестью и готовый вполне сознательно сказать себе:

«Да будет во всем Его святая воля!»

БУРЯ НАДВИГАЕТСЯ

Осень 1608 года удивительно теплая, тихая, сухая. Сентябрь уж шел к концу, а лес еще стоял в полном уборе и блистал густою ярко-золотистою, то огненно-красною, то багряною листвою. И дни стояли ясные, не жаркие, при той удивительной прозрачности воздуха и той поражающей ясности неба, которые свойственны только северной осени.

И как бы в противоположность этой тихой осени, богоспасаемый город Ростов — «старый и великий», как он некогда писался в грамотах, величаясь перед новыми городами Владимиро-Суздальского края, всегда спокойный, сонный и неподвижный, словно замерший среди своих старинных церквей и башен, в эту осень сам на себя не походил... На улицах заметно было необычайное оживление и движение, на перекрестках, на торгу, на папертях церквей — везде граждане ростовские собирались кучками, толковали о чем-то, совещались, спорили, что-то весьма

тревожно и озабоченно обсуждали. И в приказной избе тоже кипела необычная работа: писцы под началом дьяка усердно скрипели перьями с утра до ночи, а дьяк по многу раз в день хаживал с бумагами к воеводе Третьяку Сеитову и сидел с ним, запершись, по часу и более. И сам Третьяк Сеитов был тоже целый день в суете и впопыхах: то совещался с митрополитом ростовским Филаретом Никитичем, то с кузнецами пересматривал городскую оружейную казну, отдавая спешные приказания относительно починки и обновления доспехов и оружейного запаса, то обучал городских стрельцов ратному строю и делу. Одним словом, на всем Ростове и на всех жителях его лежал отпечаток какой-то тревоги, беспокойства, ожидания каких-то наступающих бед и напастей.

Это тягостное ожидание наполняло умы всех граждан от старших и до меньших людей, и потому неудивительно, что главным предметом всех частных бесед, где бы они в это время ни происходили, были те же ожидания, те же страхи и опасения, грозившие бедою нежданною и неминучею.

И вот в саду того дома, где в Ростове помещалась инокиня Марфа Романова с своими детьми Мишей и Танюшей и с деверем боярином Иваном Никитичем Романовым, в один из этих прекрасных и солнечных дней конца сентября 1608 года шла между Марфой Ивановной и Иваном Никитичем точно такая же беседа, как и всюду в Ростове, на площадях и перекрестках, на базарах и в домах.

— Час от часу не легче, — говорила, вздыхая, Марфа Ивановна, — одной беды избудешь, к другой себя готовь!

— Словно тучи, идут отовсюду беды на Русь, — сказал угрюмо сидевший около инокини боярин Иван Никитич, — и просвету между туч не видно никакого! Одна за другой спешит, одна одну нагоняет... Сама посуди: от одного самозванца Бог Москву освободил, и году не прошло — другой явился, а с ним и ляхи, и казаки, и русские изменники... И вон куда уж смуту перекинуло: под Тушином Москве грозят, обитель Троицкую осаждают да сюда уж пробираются, в Поволжье... Спаси, Господи, и помилуй!

— Да неужели они и сюда прийти мо-

гут? — тревожно спросила Марфа Ивановна, невольно бросая взор в ту сторону сада, откуда неслись веселые и звонкие детские голоса.

— Вчерась получены были вести, будто под Суздалем явились передовые отряды лисовчиков. А от Суздаля сюда далеко ли?.. О, да эти змеи лютые всюду проползут!

— Да ведь и в Суздале есть воевода и при нем отряд изрядный, а во Владимире и зять наш, Годунов Иван Иванович, и рать при нем царская. Неужели не дадут отпора? Неужели допустят врага сюда?

— Как говоришь ты, сестрица, не дадут отпора? И дали бы, да тут же рядом измена, за спиною у тебя. Везде-то шаткость, ни на кого надежды возложить нельзя, ни друга, ни брата, ни кровного! А ты об отпоре говоришь!

— Так как же быть, по-твоему?

— А, по-моему, так: заранее меры принять. Я так и брату Филарету говорил, вот, к примеру, тебя с детьми я отослал бы, пока есть путь в Москву. Там все ж вернее будет.

— Меня с детьми? А муж здесь чтобы остался? Нет, нет! Ни за что!

— Ну, так сама останься, а детей отпусти со

мною. Я все равно сегодня в ночь поеду.

— Нет, и с детьми расстаться мне не под силу. Сколько муки натерпелась я в разлуке с ними.

— Мама! Мама! — зазвенели со стороны из-под густых берез серебристые голоса детей. — Гриб нашли! Гриб нашли! Белый, хороший!

И Миша с Танюшей стремглав подбежали к матери, с торжеством подавая ей свою находку.

— Это я первая увидела! — утверждала Танюша.

— А я... А я его сломал! — оспаривал Миша.

— Ох, вы милые, дорогие мои! — обратилась мать к деткам, обнимая их и привлекая к себе. — И ты, моя большуха глупенькая! Чуть не невеста уж, ведь тринадцатый годок пошел, а из-за гриба поспорить готова. И ты, моя надежда! Грибовник мой! Нет, не расстанусь я больше с вами!

И она обняла детей, стала их горячо целовать.

— По нынешнему смутному времени, сестрица, так говорить — Бога гневить! Разве мы

в себе вольны? Или ты забыла, как всех нас разметала гроза гнева Божия и вихрь разнес нас по лицу земли Русской! Как цвет и гордость нашей семьи погибли? Брат Михаил — красавец, богатырь по силе — сошел в могилу, а я, больной и хилый, все перенес. Чем ты поручишься, что и теперь живем не накануне такой же беды? Вот я и думаю, что было бы неразумно испытывать судьбу, а следует позаботиться теперь же и упредить опасность.

— Мама, что такое дядя говорит? — пугливо прижимаясь к матери, проговорила Танюша. — Разве тут нам жить опасно?

— Нет, голубушка! Дядя не о нас и говорил... Ступайте с Мишей, поищите еще грибов, из одного не сварить похлебки... А где же пестун Мишенькин, где Сенька?

— Здесь я, матушка боярыня! — раздался голос из-за крыльца, и к инокине Марфе подошел высокий и сухой мужчина лет сорока пяти, с очень приятными чертами лица, глаза его светились добротой, и улыбка почти не сходила с уст его.

— Смотрел я, государыня, любовался, как господин воевода городовых стражников

мушкетной пальбе обучает... Видно, что он не на шутку воевать затеял, и тогда, пожалуй, ворогам несдобровать будет... Жаль только, что наши мужики ростовские не заодно с воеводою думают.

— А ты почему их думы знаешь? — спросил Иван Никитич, недоверчиво озираясь на Сеньку.

— Как почему знаю? Я же на торгу ежедневно толкаюсь и в храмы Божий хожу, а мужики теперь все горланами стали, не шепотом говорят.

— Что говорят-то? Ну? — нетерпеливо допрашивал Иван Никитич.

— А вот одни-то, кто посмирнее, те жалобную песню поют: уж нам ли, мол, воевать, весь век на печи просидели? Нам-де, людям торговым да пашенным, доспех пристал ли? Иной, говорит, за весь свой век тетивы ни разу не натянул, меча из ножен не вынул... А кто посмелее, те уж прямо кричат: в нашем городе ни острога нет, ни наряда настенного, коли к нам ворог придет, надо супротив него не с рогатиной, а с хлебом-солью выйти!..

— Вот тут и говори об отпоре, сестрица! —

с горькой усмешкой сказал Иван Никитич, поднимаясь с места и опираясь на трость. — И если ты не хочешь слушать моего совета — твоя воля! Только, чур, не спокайся потом.

— Нет, братец, не могу, не в силах так поступить... Лучше всем вместе умереть, чем порознь жить и тосковать друг по дружке!

Иван Никитич пожал плечами и, не сказав более ни слова, заковылял к дому, а дети, которые все это слышали из-за ближайших кустов, где они спрятались, вдруг выскочили оттуда и бросились к матери на шею.

— Да, мамочка! Да! Лучше вместе, чем порознь жить! — шептала матери Танюша.

Но даже и ласка деток не могла согнать с чела инокини Марфы того темного облака, которое на нем нависло. Черные думы не давали ей покоя, и она не находила себе ни в чем ни утехи, ни просвета. Наконец, утомленная своими неразрешимыми заботами, она почувствовала потребность остаться наедине с собою и сказала Сеньке:

— Сведи-ка ты детей в кремль, в митрополичий дом, сегодня за недосуг они еще у благословения родительского не бывали. А я тут

стану брата в путь собирать.

Когда они ушли, а она осталась одна, на той же лавке в углу густого сада, который уже золотили и румянили лучи рано закатывающегося солнца, она погрузилась в думы о муже, о детях, о тех опасностях, которые могли их здесь ожидать, и старалась найти хотя какой-нибудь утешительный выход из своего тягостного положения... Но в тот день ей не суждено было ни на чем успокоиться.

— Государыня, — раздался с крыльца голос сенной девушки, — холоп твой Степанко Скобарь просит, чтобы ты дозволила ему твоих очей видеть... Говорит, с вестями приехал.

— С вестями? — тревожно переспросила Марфа Ивановна. — Зови его скорей!

Степан Скобарь вошел в сад из горницы, спустился с крыльца и, подойдя к госпоже своей, отвесил ей низкий поклон, касаясь земли перстами.

— Съездил, матушка! Все разузнал, а только хороших вестей с меня не спрашивай. Беда кругом, куда ни глянешь.

— Был ли во Владимире? Говори скорей! Видел ли зятя, сестру?

— Где их видеть? Владимир передался на сторону тушинского царя, и зять-то твой, Иван-то Годунов, сам с хлебом-солью к тушинцам вышел.

— Боже! Боже мой! Что это за время ужасное! — воскликнула Марфа Ивановна, всплеснув руками.

— И Суздаль в их руках! Там стали, было, противляться, да кожевник Меньшак Шилов всех сбил с толку: заревел вдруг в истошный голос, чтобы все, кто хочет жив остаться, царю Дмитрию пусть крест целуют. И все перепугались и стали целовать крест тушинскому... И в Переяславле тож! А ведь переяславцы нам, ростовским, первые враги. Ну, того и жди, что скоро сюда нагрянут, наш черед теперь на зубы тушинцам попасть.

— Ты и поклясться можешь, что все эти вести верны? — твердо сказала Марфа Ивановна.

— Слова лжи не вымолвил, — с уверенностью сказал Степан Скобарь. — Вот и крест целую.

Он полез за пазуху, вытащил свой тельник и поцеловал его.

Тогда Марфа Ивановна поднялась с места и направилась к дому. На крылечке хором ей встретился Иван Никитич, уже одетый в дорожное платье.

— Что, сестрица? Хороши ли вести тебе принес Степанко? — сказал он. — А Годунов каков? Хорош отпор он дал тушинцам? И неужели же ты, и после того всего, упорствуешь здесь остаться?

— Да, братец, теперь больше, чем когда-нибудь, я в этом убеждена, что мое место здесь, при муже и при детях.

— Пускай бы уж при муже! Ну, а детей-то на что же под обух вести?..

Марфа Ивановна молчала и спокойно глядела ему в глаза, он понял, что она приняла твердое решение.

— Ну, как знаешь. А мне пора, пока еще не все дороги отсюда перехвачены. Прощай, сестрица! Буду ждать всех вас на Москве, коли Бог даст свидеться.

Они молча обнялись и поцеловались, не сказав ни слова более на прощанье.

На другое утро спозаранок тревожно зазвонили колокола во всех ростовских церквах,

кроме кремлевских соборов. Не то набат, не то сполох... И все граждане, поспешно высypавшие из домов на улицу, полуодетые, простоволосые, встревоженные, прежде всего спрашивали у соседей при встрече:

— Пожара нет ли где?.. А не то ворог не подступает ли?

— Ни пожара, ни ворога, а все же беда над головой висит неминуемая. Вести такие получены! — слышалось в ответ на вопросы, хотя никто и не брался объяснить, в чем беда и какие именно вести.

Между тем звон продолжался, толпы на улицах возрастали, а из домов выбегали все новые и новые лица: мужчины, женщины и дети. Кто на ходу совал руку в кафтан, кто затягивал пояс или ремень поверх однорядки, кто просто выскакивал без оглядки в одной рубахе и босиком или, еще хуже того, в одном сапоге. Женщины начинали кое-где голосить, дети, перепуганные общим настроением и толками, кричали и плакали. Тревога изображалась на всех лицах и становилась общою.

— Да кто звонит-то? Из-за чего звонят? — спрашивали более спокойные люди, ничего

не понимая в общей панике.

— А кто же их знает? Вот у Миколы зазвонили, и наш пономарь на колокольню полез.

— Да кто велел звонить?

— Ну чего вы к нам пристали? Не мы, чай, приказывали!

— Говорят, гонец приехал, вести привез, по церквам читать будут, ну, вот мы у церкви и собрались. Ан смотрим, и церковь на замке стоит, — слышится в толпе, собравшейся у церкви.

— Да вот постойте, постойте! Отец протопоп и сам идет!

Все бросаются к отцу протопопу с расспросами о вестях и о причине звона.

— Знать не знаю. И вестей никаких не получал, — отвечает отец протопоп в полном недоумении. — Расходитесь вы, благословясь, а я сейчас пономаря с колокольни спугну.

— Как нам расходиться после этой тревоги и страха смертного? Нам надо вести знать! — кричат в ответ протопопу с разных сторон.

— Где же я вам вестей возьму, коли у меня их нет? Ступайте к властям в кремль, у них

спрашивайте, — отзывается отец протопоп.

— А и точно, братцы. Пойдем к самому митрополиту да к воеводе: они должны знать, они на то поставлены.

— Вестимо к ним! К ним! Туда! В кремль! К митрополиту, к воеводе! Как им не знать? — раздались в толпе голоса и крики и, повторяемые другими толпами, привели к общему движению в одном направлении.

VI

РОСТОВСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Толпа, возрастая, повалила к кремлю, запрудила всю улицу перед входными воротами, произвела усиленную давку в широком воротном пролете и, наконец, хлынула в кремль и залила всю площадь между соборами и митрополичьим домом, шумя и галдя. В толпе временами слышались возгласы и даже крики:

— Воеводу нам! Третьяка Сеитова! Пусть нам объяснит, какие вести!

— Кто сказал, что вести есть? Кто? — раздалось где-то в стороне.

— Романовский холоп еще вчера с вестями приехал... А нам не сказывают! — крикнул вдруг кто-то во весь голос.

— Какой холоп? Какие вести?.. Отца митрополита сюда, пусть он и с воеводою оповестит нам!

Крики становились все громче и громче и уже начинали сливаться в один общий гул, когда, наконец, на рундуке митрополичьего дома явились сначала дьяки, потом воевода Сеитов, высокий, плотный, здоровый мужчина лет пятидесяти с очень энергичными и выразительными чертами лица. Вслед за Сеитовым вышел и сам митрополит Филарет Никитич, в темной рясе и белом клобуке с воскрылиями, которые опускались ему на плечи и грудь. Мерно и твердо опираясь на свой пастырский посох, он остановился на середине рундука и величавым, спокойным движением руки стал благословлять толпу во все стороны.

Толпа разом смолкла. Шапки, одна за другою, полетели с голов, а руки полезли в затылок, и те, что еще за минуту кричали и галдели, теперь присмирели и, переминаясь с ноги

на ногу, не знали, что сказать, как приступить к делу.

Филарет обвел всех спокойным и строгим взглядом и произнес:

— Зачем собрались вы, дети мои? Какая у вас забота?

Этот вопрос словно прорвал плотину, отовсюду так и полились и посыпались вопросы и жалобы:

— Вести! Вести какие?.. Воевода зачем их скрывает?.. Хотим знать... Сказывайте, какие вести?..

Филарет обратился к воеводе и сказал ему:

— Сказывай им все, без утайки.

Воевода приосанился и громко, так громко, что слышно было во всех концах площади, сообщил:

— Вчера поздно вечером романовский холоп привез нам вот какие вести: Суздаль врасплох захвачен Литвой и русскими изменниками. Нашлись предатели и в городе и не дали добрым гражданам простору биться с ворогами... Владимир предан тушинцам воеводою Годуновым, который, забыв страх Божий и верность присяге, не стал оборонять

города, хотя и мог — и войска, и наряда, и зелья было у него полно... Переяславцы и того хуже поступили: злым ворогам и нехристям, грабителям и кровопийцам навстречу вышли с хлебом-солью и приняли их, как дорогих гостей... Вот вам наши вести.

Воевода замолк, и толпа молчала, довольно-таки сумрачно настроенная. Потом слышались тут и там отдельные голоса:

— И Суздаль сдали, и Владимир на их сторону потянул, и Переяславль сдался... Надо и нам за ними... Одним где ж нам с такою силою справиться?

— Да чего и воевать-то? Где же нам в царях разбираться, который правый, который неправый? — слышалось даже в передних рядах.

— Разбирать вам и не приходится, вам только присягу помнить надо! — строго заметил Филарет.

— Да ведь сила-то, отец честной, соломушку ломит! — заговорили в передних рядах купцы.

— Так, по-вашему, сейчас и с хлебом-солью хоть к самому сатане! — крикнул воевода. —

Возьми, мол, наши животы — оставь нас с головами.

— Да уж тут как ни храбрись — побьют. Одно слово — побьют, а потом пограбят, по миру пустят! — загалдели посадские. — Переяславцы-то давно на нас зубы точат — это нам довольно известно.

— А вы их в зубы да в загривок, — крикнул воевода, энергично размахивая здоровенными кулачищами, — вот и присмиреют!..

— Да ведь хорошо бы, кабы с ними одними, а то их тут придет сила! — уныло покачивая головами, отвечали ему посадские разом.

— Ну, что ж? И у нас есть сила! Тысячи две стрельцов и добрых ратных людей у нас наберется, — сказал воевода. — Подбирайте и вы молодцов, коли наберете столько же, то я вам ручаюсь, что мы переяславцев с тушинцами и на порог не пустим! Вот в Гладком логу и встретим, да так-то угостим, что до новых венников не забудут.

Энергичная речь нашла себе сочувствие в толпе, раздались смешки и одобрительные возгласы, но уныние опять одолело.

— Где уж нам в поле выходить! Там и ляхи,

и казаки, народ привычный к бою, народ — головорез! Тем и живут — с конца ножа... Нет, уж коли на то пошло, так уж лучше собрать животишки да бежать всем розно...

— Пока путь чист, в Ярославль переберемся! — поддакнули другие.

— Да, да! Чем тут голову под обух нести, лучше бежать загодя, спасти, что можно!

— Бежать от ворога! Бежать всем городом, — раздались крики.

— Стойте! Стойте!.. Молчите! Отец митрополит хочет говорить!..

— Православные! — начал Филарет. — С душевной скорбью вижу я, что помыслы все ваши только о мирском. Заботитесь о животах, о жизни, о покое своем, бежать собираетесь... Почему не позаботитесь о Божьем? О храмах ваших, о святых иконах, о мощах угодников, о благолепном строении церковном, вами же и вашими руками созданном, из вашей лепты? Почему не вспомните могилы отцов и дедов и почивших братии ваших? Или и это все возьмете с собою? Или и это все вы понесете в дар лютым ворогам и скажете им: возьмите, разоряйте, грабьте, оскверняйте-

те, только нас, робких, пощадите за смиренность наше. Так, что ли? Говорите, так ли?

Филарет обвел передние ряды вопрошающим взглядом, никто ни слова не проронил ему в ответ. Тогда он продолжал:

— Бегите же, маловерные! Спасайтесь, забыв святой долг присяги, по которому вы за своего царя должны стоять до конца, до последней капли крови! Я не пойду за вами: я останусь здесь на страже соборной церкви, святых мощей, икон и всей казны церковной... И помните, что нет вам моего благословения.

Спокойствие и твердость этой речи произвели на толпу очень сильное впечатление. Раздались с разных сторон возгласы:

— О-ох, грехи! Стыдно покидать святыню, это что говорить!.. Насмеются над нами наши вороги... Ох, кабы рать царская, кабы помочь откуда подошла!

Сеитов воспользовался этой минутой колебания и вдруг заговорил:

— Кабы чужими руками да жар загрести! Других бы подставить, а самим за чужую спину спрятаться! Этак-то, братцы, и всякий су-

меет... Да и хитрость тут невеликая! Нет, вы сами покажите себя, сами рогатину в руки, да топор, да лом... Да станьте-ка стеною твердою: подступай, мол, кто смелее!.. Так у врага и руки опустятся!

— Это верно, что и говорить!.. Смелый и врагу страшен... Это точно! — раздалось в разных местах.

— А коли верно, так за чем же дело стало? В городской казне на всех оружия хватит: копьев, бердышей, сулиц, обухов, чеканов. И доспехов набираем сотен пять: и сабель, и мечей найдется. Захотите драться — будет чем с лиходеем переведаться. Не захотите — путь вам не загорожу, ступайте. А я тоже от отца митрополита ни на шаг... Здесь жил, здесь служил, здесь и голову сложил...

В толпе поднялся невероятный шум, несмолкаемые крики, брань, перекоры... Но смелые начинали преобладать, судя по возгласам и общему настроению толпы.

— Останемся... Стыдно бежать!.. От беды трусостью не спасешься... И разор велик, и позор пуще того... Биться надо! Надо им отпор дать, чтоб неповадно было.

Несколько десятков более смелых пробились, наконец, вперед, к самому рундуку и завопили:

— Давай нам оружие! Давай, готовы биться! Давай!

— Нет, братцы, так негоже, — сказал воевода. — Пожалуй, выйдет так, что оружие взяли, а сами и побежали... И останусь я и без бойцов, и без оружия... Нет, кто хочет с нами быть за один, тот выходи, да записывайся, да крест целуй, что ни государева, ни своего земского дела не выдашь! Тогда и приходи ко мне в оружейную казну.

— Бери с нас запись! Целуем крест! — закричали уже сотни голосов, и сотни рук поднялись в толпе.

— Вот это дело, это так! А ну-ка, добрые молодцы, направо, а сарафанники — налево! Разбивайся, что ли! И кто направо, те к записи ступай! Эй, дьяки! Готовьте всем запись учинить, кто только пожелает.

Толпа зашевелилась. В ней среди гула и шума голосов произошло движение, толкотня и даже некоторая давка, и затем она разделась надвое: огромное большинство отхлыну-

ло на правую сторону, к «добрым молодцам», а меньшинство отошло налево, и притом меньшинство, действительно неспособное носить оружие: старые, убогие, недужные люди.

И теперь все уже спешили записываться наперебой, записавшись; подходили под благословение митрополита и целовали крест из рук его, а затем становились особо в ряды. Дьяки едва успевали заносить имена в столбцы и дважды посылали подьячих в приказную избу за бумагой. Не прошло и двух часов, как на столбцах, покрытых записями, можно было уже насчитать более трех тысяч имен.

— Ну, вот теперь, братцы! — обратился к новобранцам воевода. — Теперь пожалуйста всем скопом к приказной избе за оружием да из домов тащите что у кого есть: доспехи, шлемы, рубахи кольчужные... Теперь я знаю наверно, что мы у переяславцев отобьем охоту к нам в Ростов жаловать. За мной, ребяташки!

И он двинулся к приказной избе во главе толпы приободренных им ростовцев.

Минула еще неделя, наступил и октябрь, а погода стояла все та же: теплая, тихая, сухая... На ржаных полях озимь выросла в колено, колос в трубу заворачиваться стал, а ни о снеге, ни о зиме и помину еще не было. Старики только головами покачивали, не пророча ничего хорошего на будущий год... Но зато детям было раздолье: они не уходили с улицы и, конечно поддаваясь общему воинственному настроению горожан, всюду играли в войну, собирались ватагами, выбирали воевод и разбивались на два отряда — на ростовцев и перяславцев, выходили на площадь, сшибались, ходили друг на друга стена на стену и наполняли тихие улицы города веселым шумом и криком.

Такая же точно игра происходила каждый день в саду дома Романовых, где девятилетний Миша собирал около себя всех дворовых ребят и воеводствовал над ними, посылая их во все концы сада на розыск подступающего врага. К тому же Сенька ухитрился смастерить Мише рог, в который он трубил, сзывая своих ратников. И игра под руководством Сеньки шла настолько оживленно и весело,

что Танюша, которую Марфа Ивановна сажала с утра за работу, не без зависти поглядывала на затеи братца Мишеньки из-за своих пялец. Любовалась не раз играми Мишеньки и сама Марфа Ивановна, отвлекаясь от тех скорбных дум и тяжелых предчувствий, которые ни днем ни ночью не давали ей покоя с самого отъезда Никиты Ивановича из Ростова. Сядет она, бывало, на скамеечку под березами и любитесь на резвость и подвижность своего милого сынка, на его оживление и веселье...

— Хорошо бы, матушка, кабы и на войне вот так точно было, — заметил как-то раз Сенька, указывая своей госпоже на игры мальчиков. — Тогда, пожалуй, и ростовцы тоже храбрее были бы...

Сенька пользовался особенным доверием и милостями Марфы Ивановны и Филарета Никитича, потому что он вынес все тягости ссылки в качестве слуги при Иване и Василье Никитичах, сосланных в Пелым. За обоими братьями он ухаживал, как самая верная и преданная нянька, не отходил от них ни на час во время их болезни. Один из них — Васи-

лий Никитич — даже и скончался на его руках, а Иван Никитич, вернувшись из ссылки, указал Филарету Никитичу на Сеньку, как на самого надежного пестуна для Миши, и, надо сказать правду, что Сенька действительно вполне оправдывал лестный отзыв о нем довольно сурового Ивана Никитича. Он не только безотлучно находился при Мишеньке днем и ночью, не только следил за каждым его шагом зорко и неусыпно, но и по отношению ко всем в семье и доме Романовых оказывался чрезвычайно услужливым, внимательным и предупредительным. Вот почему и сама Марфа Ивановна охотно вступала с ним в разговоры, входила в обсуждение некоторых домашних вопросов и даже принимала его советы.

— А как тебе сдается, Сеня, — спросила его однажды Марфа Ивановна, любуясь на военные игры Мишеньки, — удастся ли воеводе отстоять Ростов от тушинцев?

Этот вопрос тревожил ее уже несколько дней сряду, от него изныло и болело ее сердце.

— А как тебе сказать, государыня, — ска-

зал, подумав, старый и верный слуга, — оно, конечно, победа — дело Божье... На все его воля... Ну, а все же мне сдается, что в открытом поле ему против тушинцев не выстоять. Хорошо, коли они его воинства испугаются да не полезут в битву... А коли полезут, тогда уж пиши пропало...

— Что ты это, Сеня? Да ты пугаешь меня!

— Правду-матку режу, не прогневайся! Да ты и сама изволь раскинуть умом-разумом, ну какие это воины у воеводы набраны, кроме городских стрельцов да служилых людей? Сегодня он пекарь — баранки в печку сажает, а завтра в поле вышел. А этот бондарь — оброчи на клепки нагоняет, а тут вдруг на коня сел. Смеху подобно. Таким ли воинам против Литвы да казаков выстоять? Опять и то скажу, коли бы у Ростова ограда была с башнями да наряд на башнях, тут бы ростовцы за себя постояли, потому у них за спиной свой дом, своя семья. А в поле побегут как раз!

Такое мнение Сеньки о ростовских военных приготовлениях не могло успокоить тревоги Марфы Ивановны, и она все более и более поддавалась своему мрачному настроению.

нию. И вдруг поутру 10 октября зазвонили все колокола ростовских церквей и в кремле, и во всех концах города, сзывая ростовцев на защиту их родного города. В то же время затрубили трубы, затрещали барабаны у приказной воеводской избы. По городу разнесся слух, что по полученным сведениям тушинцы и переяславцы уже двинулись в поход к Ростову. Все население высыпало на улицу: вооруженные переписные ратники вперемежку с плачущими и причитающими женщинами, детьми и подростками, с дряхлыми и убогими старцами. Ратники спешили к местам, но, надо сказать правду, очень неохотно: один жаловался на тяжесть доспеха, другому шлем был не по голове, третий путался в сабле, привешенной не по его росту. И все это шумело, гудело, вопило и стремилось по улицам в каком-то оторопелом, встревоженном и далеко не воинственном настроении.

Марфа Ивановна с грустью и тревогой присматривалась и прислушивалась к этому шуму и движению на улице, к этой толпе, которая куда-то валила волною, безотчетно стремясь навстречу своему неизвестному року, и

в душе ее не было никакой надежды на то, что эта слабая сила защитит ее и семью от надвигающейся грозы.

«Боже мой, Боже мой! Что с нами будет?» — думала она с нескрываемым волнением, сидя на рундуке, выходявшем в сад, и прислушиваясь к призывным звукам труб и к грохоту барабанов, который мешался с колокольным звоном.

— Мама, мама! — крикнул ей вдруг Мишенька из сада. — Посмотри-ка, посмотри, какой к тебе Степанка нарядный идет!

Марфа Ивановна оглянулась и увидела перед собой Степана Скобаря во всем ратном убранстве, на нем была частая кольчужная рубаха, подпоясанная толстым ремнем с бляхами, к которому привешен был широкий и прямой тесак, а голова у него была прикрыта островерхим желобчатым шеломом с бармицей, свешивавшейся на плечи.

Степанка подошел к своей госпоже, снял с себя шелом и поклонился ей в ноги.

— Прощай, матушка, государыня ты наша! Прости, коли в чем провинился, не поминай лихом. Детишек моих с женишкой не оставь

без призору, коли сложу голову!

— Дай тебе Бог удачу, Степан, — сказала приветливо Марфа Ивановна. — Но только вот какой тебе от меня дан заказ, и ты его помни: если сохранит тебя Бог в начале битвы, так ты наблюдай и смотри, какой конец будет. И если чуть только заметишь, что наши дрогнули, что уж им не устоять, сейчас скачи сюда, не жалеючи коня, с известием ко мне и к господину своему Филарету Никитичу. Понял?

— Понял, матушка! Как не понять! По твоему заказу и исполню.

Он поднялся с колен, отвесил еще поясной поклон Мишеньке, поцеловал его руку и удалился.

VII

НАКАНУНЕ РАЗГРОМА

Полчаса спустя колокола смолкли, и слышно было, как при звуках труб и барабанов ростовская сборная рать двинулась через город на Переяславскую дорогу. Звуки музыки и самого движения рати, мало-помалу удаляясь, затихли, и до слуха Марфы Ивановны стал вскоре долетать только шум расходящейся по домам толпы да жалобные вопли и причитания женщин, разлучившихся с сыновьями, мужьями и братьями.

— Вернутся ли? Увидишься ли с ними вновь? — вот вопросы, от которых не могла отделаться грустно настроенная Марфа Ивановна.

— Мама! — обратился к ней с вопросом Миша. — На войне, когда кого-нибудь убивают, он тоже падает?

Не понимая этого вопроса, мать стала вглядываться в лицо ребенка с недоумением.

— Ведь вот у нас, когда мы в войну играем, кто убит, тот падает, — пояснил ей ребенок, —

а потом встает... И там, на настоящей войне, так же бывает?

— Нет, голубчик, там не так! Там насмерть убивают, на весь век калечат людей.

Ребенок не стал больше спрашивать, но его, очевидно, ответ матери поразило тяжело: с его детскою душою не мог примириться образ смерти и мучительных страданий, к которым взрослые люди привыкают, как к чему-то неизбежному и необходимому.

Сенька, слышавший вопрос ребенка, воспользовался тем временем, как Миша отошел от матери, и, с своей стороны, решил ей напомнить о нуждах действительности.

— Государыня, Марфа Ивановна, — приступил он к госпоже своей, — не во гневе тебе будь сказано, а не время ли теперь подумать, как быть в случае, ежели бы...

— Ты что хочешь сказать? — перебила его Марфа Ивановна.

— А то и хочу сказать, госпожа всемиловитая, что в победе и в счастии Бог волен, а осторожность на всякий случай не мешает... Береженного Бог бережет...

— Да что же я могу?.. Филарет Никитич и

слышать не хочет ни о каких предосторожностях... Говорит: все под Богом ходим.

— Бог-то Богом, матушка, а отчего бы не припрятать то, что подороже да понужнее? Собери да поручи мне — все ухороню, и все цело будет... Кое в землю зарюю, а кое в тайник соборный снесу, в тот, что под северным-то подпольем. Времена такие...

— Ох, больно и подумать, что наша и жизнь, и счастье — все на волоске висит!.. Что ж? Спасибо тебе, Сеня, за твою заботу. Я соберу, что поценнее, и, как стемнеет, все передам тебе...

— Да вот еще, матушка, тут, в слободке подгородной, что по Костромской дороге, кума есть у меня... Такая шустрая бабенка, вдова, а всем домом не хуже каждого мужика правит... Так ты дозвожь мне к ней сходить и упредить ее, чтоб, если будет нужно, в подполье она очистила местечко нам... Подполье, вишь, у нее богатое такое!.. Для рухляди, дескать, какой, а то ведь кто их знает? Может, и для самих нас пригодится... Лихие времена! Лихие, ненадежные, все лучше камешек за пазухою припасти!

Марфа Ивановна не подала вида, что она поняла намек Сеньки, но внутренне вполне с ним согласилась и сказала:

— Ладно. Сходи к куме в слободку, а к темноте сюда не опоздай.

Семен тотчас же воспользовался данным ему разрешением и поспешно ушел с боярского подворья, никому не сказав о цели своей отлучки. Но он пошел сначала не к куме, а дальним, кружным обходом по окраинам города вышел на ростовское озеро около рыбацкого поселка и долго, по-видимому без всякой цели, бродил по берегу, а потом схоронился в густых прибрежных кустах и терпеливо просидел в них до наступления сумерок. Когда в поселке показались тут и там огоньки, Сенька вышел из кустов, почти ползком добрался к тому месту берегового откоса, где стояли рядом выволоченные на берег рыбацьи челны, подобрался к одному из них, поменьше и полегче других, очевидно намеченному заранее, и, быстро столкнув его в воду, вскочил в него на ходу с ловкостью привычного человека. В два удара веслом он был уже далеко от берега, стараясь поскорее скрыться

В темноте, уже стусившейся над озером, потом свернул налево, перерезал один из плесов озера и причалил к берегу около старой ивы... Здесь он выволок челнок на берег, укрыл его в густых прибрежных зарослях, а сам, оглянувшись во все стороны, приподнял голый и полуобгорелый пень, прикрывавший какую-то темную впадину берега, перекрестился и юркнул в лазейку не хуже доброй лисицы...

Всю ночь с 10-го на 11 октября Марфа Ивановна провела без сна. С вечера она почти до полуночи провозилась над уборкою всего, что было поценнее из домашней рухляди, из серебряной казны и из тех предметов церковной утвари, которые находились в ее моленной. Иконы в серебряных, басманных и кованых окладах и другие, шитые жемчугом по ткани, кресты, складни, кадильницы и лампы чеканного серебра, запястья, оплечья, низанные жемчугом и усаженные камнями, — все это было уложено в два кованых ларца, а серебряная посуда, — кубки, чаши, солонки, крошки, блюда и тарелки, — в боль-

шой сундук. Затем Сенька, вырывший где-то в глухом месте сада две ямы, не без труда стащил туда тяжелый сундук и оба ларца, зарыл их там, затоптал и заровнял оба места над зарытым кладом, а сверху забросал мелким валежником и листвой.

Было далеко за полночь, когда Сенька вернулся с этой трудной работы и доложил государыне своей, что и ларцы, и сундук на всякий случай ухоронены так, что «вражьи дети их не скоро отыщут».

— Спасибо тебе, Сеня, — сказала ему в ответ на это Марфа Ивановна. — Авось Бог нас от их рук избавит.

Сенька, однако же, стоял на месте, переминаясь, и не уходил.

— Что тебе еще нужно, Сеня? Ты как будто мне еще что-то сказать хочешь?

— Да не то чтобы сказать, а так, в упреждение больше... Ведь не ровен час, матушка, времена-то лихие такие! Так я вот насчет чего: в случае, если завируха какая здесь завтра ли, когда ли заварится, так надо тебе, государыня, одно помнить: от меня с детками не отставай...

— То есть как это? Я в толк не возьму?

— А так, государыня, ты только о себе да о детях заботься... И от меня ни на шаг...

— А Филарет Никитич? — испуганно спросила Марфа Ивановна.

— Государь-митрополит сам за себя постоять изволит, да он же из воли Господней не выйдет, хоть что кругом ни творись... Сама изволишь видеть, что сказал, то и свято. А деткам малым мы покров и защита. И для тебя с детками твоими у меня кое-что припасено...

— Да что припасено-то? — тревожно перебила Марфа Ивановна.

— А и сказать тебе не смею! Одно слово — шапка-невидимка и ковер-самолет. Коли сами не сплосшаем, никто нас не найдет.

— Ну, ладно, Сеня! Ступай теперь спать... Вторые петухи давно пропели... Утро вечера мудренее, — сказала со вздохом Марфа Ивановна.

Сеня поклонился и ушел, поскрипывая на ходу сапогами. А Марфа Ивановна, прежде чем удалиться в свою опочивальню, заглянула в детскую, тускло освещенную лампадою,

теплившуюся у икон.

Тишина и сон, безмятежный сон беззаботного детства, царили в этой уютной небольшой комнате. Эту тишину нарушало только ровное, спокойное дыхание Танюши и Мишеньки да легкое похрапывание Танюшиной мамы, которая, подложив руку под голову, прикорнула на сундуке. Марфа Ивановна подошла к кровати, в которой спал Миша, наклонив немного голову набок и спокойно сложив руки на груди. Мать любовалась на румяные щечки мальчика, на полуоткрытые губки его, наклонилась, поцеловала его в лоб и осенила крестом.

Точно так же благословила она и Танюшу и неслышными стопами направилась к двери.

— О, Боже! Сохрани их и помилуй, не дай злу погубить их, нарушить чистый покой их душ!..

Затем она удалилась к себе в опочивальню, смежную с детской, и, не раздеваясь, прилегла на кровать, закрыла глаза и попыталась уснуть...

Но сон не сходил к ней и не вносил успоко-

ения в ее душу. Мысли черные, мрачные не покидали ее, образы странные, кровавые, угрожающие тревожили напуганное воображение и пугали близкими бедами... К тому же среди ночи вдруг где-то вдали поднялся собачий вой, подхваченный десятками собачьих голосов, он перенесся на другую сторону города, то приближаясь, то удаляясь, и, наконец, стал приближаться к самому саду, к дому Романовых... Одна собака завывала, подлаивая, другие подхватывали, третьи тянули, все повышая и повышая ноты своей нескончаемой плачевной песни, — и общий вой сливался во что-то раздирающее, гнетущее, удручающее душу... Казалось, что десятки матерей и жен, убиваясь над бездыханными телами погибших мужей и сыновей, изливают свою лютую скорбь в нескончаемых воплях, стенаниях и причитаниях.

Марфа Ивановна долго прислушивалась к этому стону и вою, долго старалась совладать с собою и преодолеть ту робость и суеверный страх, который вселял ей в душу этот невыносимый вой — дурная примета, по народным понятиям. И наконец не могла совладать с со-

бою... Она вскочила с постели, стала ходить взад и вперед по опочивальне, потом опустилась на колени перед образом и думала молиться, но разрыдалась и не могла припомнить ни слова из своих обычных молитв. И долго, долго плакала эта бедная мать, удрученная заботами жизни, спасения и безопасности своих детей, и долго неудержимо текли ее слезы, хотя она сама не могла себе отдать отчета, отчего она плачет и кого оплакивает? Однако же слезы облегчили тяжкий гнет, лежащий на ее душе: она вдруг почувствовала, что может молиться, что слова молитвы сами просятся к ней на уста, и долго молилась, так же долго, как перед тем проливала слезы... На дворе уже начинало рассветать, когда Марфа Ивановна поднялась с молитвы и почувствовала, что ее клонит сон, неудержимый, благодатный сон, и она почти в изнеможении опустилась на изголовье.

Но и двух часов не удалось ей проспать, как она уже сквозь утреннюю дрему почувствовала, что кто-то теревит ее за рукав и говорит ей что-то на ухо... Открыв глаза, она изумилась, увидев перед собой Сеньку, кото-

рый наклонился к ее изголовью и повторил:

— Вставай, вставай, государыня!

— Что такое? Как ты сюда попал? — спросила Марфа Ивановна. И тут только увидела Мишу и Танюшу, совсем уже одетых; прижавшись друг к дружке, они сидели на лавке в углу под образами и тихо плакали; Марфа Ивановна вскочила разом на ноги и бросилась к детям.

— Государыня! Не теряй времени! Государь митрополит прислал приказ, чтобы ты шла сейчас с детьми в собор...

Бедной матери, еще не успевшей вполне очнуться, все это казалось каким-то странным продолжением ее сна.

— В собор? — спросила она. — А где же люди? Где мама[2]?

— Тсс! Ради Бога не буди никого... Пойдем сейчас... Да так, чтобы никто не видел. Мы должны дойти, пока в колокол не ударили... Вести получены... Побиты наши... Те сюда идут...

— А! Вот что! — и только тут постигнув весь ужас своего положения, она в то же время почувствовала в себе и твердость, и силу

чрезвычайную и, обращаясь к плачущим детям, сказала просто:

— Пойдемте, детки!

Сенька вывел их через сад во двор, совершенно пустой, потом со двора в переулок и по улицам, еще пустынным и тихим, еще слабо освещенным, так как утро было туманное и сумрачное, повел их в кремль к собору.

Первое, что бросилось в глаза Марфе Ивановне при входе в кремль, была гнедая нерасседланная лошадь, лежавшая на площади, у самых ворот. Ноги и шея ее уже вытянулись, язык висел сбоку на губах, покрытых густою кровавою пеной, глаза, широко открытые, застоялись навывкате, ввалившиеся потные бока уже не поднимались от дыхания.

— Мама, это наш Гнедко! — шепнула матери Танюша, глазами указывая ей на лошадь. — На нем Степанко на войну поехал.

— Сослужил конь службу! — с грустной улыбкой сказал Сенька. — На нем Степанко и прискакал с вестями.

С этим и подошли они к собору. Двери его были открыты, и служба митрополичий стоял у дверей с толстою связкой ключей.

— Только тебя и ожидали, государыня! — сказал он, кланяясь инокине Марфе. — Теперь и звонить будем.

И он внутри соборной паперти дернул за веревку, подавая знак на колокольню. Колокол загудел, за ним другой, третий, и все колокола слились в один общий рев и гул, возвещающая народу сполох.

Марфа Ивановна с детьми и Сенькой едва успела подойти к амвону, собираясь занять свое обычное место, как из северных дверей алтаря вышел сам митрополит Филарет. Дети бросились к нему навстречу, подошли под благословение и стали целовать его руки, за ними пошла также и Марфа Ивановна.

— Марфа! — сказал Филарет глухим, прерывающимся голосом. — Ты не должна думать обо мне в тот страшный час, который наступает ныне. Думай о себе и детях. Верный раб наш и за тебя, и за меня о вас подумал, озаботился спасением вашим. Ему, — указал он на Сеньку, — вручаю тебя и детей! Все, что он скажет, исполняй беспрекословно. Иди, куда укажет. Если Богу будет угодно сохранить меня, свидимся в Москве. Вот вам мое благо-

словение.

Жена и дети пали перед ним на колени, а позади них опустился и Сенька. Филарет всех благословил и перецеловал и, видя, что народ начинает собираться в собор, поспешил удалиться в алтарь.

Сенька наклонился к тихо всхлипывавшей Марфе Ивановне и шепнул ей:

— Государыня, не сходи с амвона да стань здесь, на клиросе, за иконой, и что бы ни было — отсюда не сходи.

А сам направился через северные двери вслед за митрополитом.

Между тем под гул и завыванье сполоха толпы народа, встревоженные и трепетные, спешили и бежали отовсюду к кремлю, на соборную площадь. Здесь из уст в уста уже переходила весть о поражении ростовцев тушинцами и переяславцами, о том, что ростовцы отступают, почти бегут к родному городу, преследуемые по пятам казаками и литвой. Робкий вой и плач поднялся над толпой: женщины вопили и ломали руки, мужчины кричали и волновались...

— Воевать тож надумали! — кричал с доса-

дою один. — Лучше бы с печи не слезали, олухи ростовские!

— А кто надоумил? Кто? Воевода да митрополит! Вот теперь пусть и платятся своими боками. Шутка ли, коль уж до шкуры дошло!

— Ну, да, да! Митрополита к ответу! Давай его сюда! — заревело несколько десятков голосов. — Давай его сюда, пусть выйдет к нам из собора! Куда он прячется? — подхватили яростно сотни других голосов. — Стойте, стойте, молчите!.. Вот он, митрополит-то, вышел!

Митрополит действительно в полном обличии, окруженный клиром, стоял на паперти перед разбушевавшеюся толпой, молча, спокойно и твердо он благословил ее крестом на все стороны, как бы желая умиротворить ее символом любви и мира.

Когда толпа в передних рядах стихла настолько, что стало возможно говорить, Филарет сказал:

— Чего волнуетесь, дети мои? Час воли Божией наступает для нас, час грозный и тяжкий... Но не бранью и проклятиями, не взаимными укорами должны мы его встретить, а смирением и молитвою. Ваш воевода Третьяк

Сеитов исполнил долг свой, он мужественно сразился со врагом и уступил только числу и ярости нападающих. Он отступает к городу, защищая нас грудью, и прислал сказать мне, что будет и здесь биться до последней капли крови... Ваши сограждане не положили на себя хулы, дрались и дерутся храбро, верные присяге. Не уступлю и я моего места у святыни ростовской, не укроюсь от вас, как хищник, а останусь здесь, как пастырь, верный своему стаду. У кого есть руки и мужество в сердце, тот поспеши на помощь братьям ростовцам и с ними бейся против врага! У кого нет ни сил, ни мужества, тот становись под мое знамя — знамя креста Господня и под кров Пречистой Богородицы — и от нее жди надежды и спасения! Двери храма открыты, входите, и вместе будем ждать врага здесь!..

Толпа слушала молча, пораженная твердостью и спокойствием митрополита. Женщины и дети сразу двинулись мимо митрополита в храм, наполняя его воплями и плачем. Мужчины сбились в кучи и стояли в недоумении, лишь изредка перебрасываясь отдельными словами и фразами.

В это время издали стали долетать звуки выстрелов и доносились все ближе и ближе... Толпа заколыхалась, послышались робкие голоса в разных концах ее:

— Батюшки! Отцы родные! Слышите? Палят? Пропали наши головы!

— Идут! Идут! Черным-черно по дороге, туча тучею! — крикнул кто-то с колокольни.

Тут толпа не выдержала, в ней произошло невероятное смятение, одни кричали:

— Ребята! По домам, по дворам, там отсиживаться будем!

— Хватай что попало, выходи к воротам биться, своим на подмогу, — кричали другие.

И теснились без толку, одни к собору, другие к воротам в кремле. А выстрелы всеблизились, гремели все громче и явственнее, и в промежутках между ними издали уже начинали долетать какие-то неясные крики и гул. Враг, очевидно, был уже близок к воротам Ростова.

VIII

РАЗГРОМ

Пономарь, заметивший с колокольни собора движение неприятеля к городу, имел полное право сказать, что вражья сила подходит к городу туча тучей. Он должен был видеть в туманной дали, как поспешно отступала к городу ростовская рать, то отбиваясь, то отстреливаясь от наседавшего на нее неприятеля, который в пять раз превосходил ростовцев численностью и пытался охватить их со всех сторон. Действительно, неприятель шел туча тучею, и это сравнение тем более представлялось правильным, что из этой темной, живой тучи, то и дело перебегая из конца в конец ее, сверкали молнии отдельных выстрелов.

Когда наконец наполовину уменьшившийся отряд ростовцев, страшно расстроенный неудачною битвой и изнуренный тягостным отступлением, достиг окраины города, ему пришлось волей-неволей приостановиться, потому что отступлению мешали плетни,

заборы и та давка, которая произошла в передних рядах при вступлении отряда в узкие улицы.

— Стойте! Стойте! Строй держи! Не мечитесь, как бараны! Чинно входи! Так долго ль до греха! — кричал Сеитов, бегая взад и вперед по задним рядам ростовцев.

Но он не сообразил того, что ему легче было поддержать строгий порядок, отбиваясь от врагов в открытом поле, нежели здесь, где в массе ростовцев каждым овладело неудержимое сильное чувство самосохранения, побуждавшее его ускользнуть от опасности либо укрывшись в дом, либо свернув незаметно за угол, откуда можно было дать тягу. В то время когда ростовская рать входила в улицы Ростова, в среде ее произошла давка и сумятица невероятная. Передние без толку совалились из стороны в сторону, а задние их теснили и путали, ратники бросали доспехи и оружие, лезли через плетни и заборы, вбегая как угорелые в дома, в бани, в гумна, или же рассыпались беспорядочными и беспомощными группами по улицам города.

Наступающие, заметив издалека остано-

ку ростовской рати на окраине города, сначала тоже приостановились, очевидно ожидая, что ростовцы здесь хотят им дать последний отпор, может быть, даже при помощи горожан, еще не принимавших участия в битве.

Воевода Сеитов, в своих хлопотах о сохранении порядка среди ростовской рати, ясно видел, как перед строем наступавших тушинцев съехались на совет их начальные люди, как они потом разъезжались и стали что-то громко кричать своим ратникам. И вдруг все вражье войско, в котором было тысяч до восьми, разделилось надвое: меньшая часть двинулась направо, пошла огородами, в обход города, а большая прямо напролом.

— Батюшки! Обходят! Беги, ребята, спасайся! Беги! — раздались голоса в рядах ростовцев.

— Стыдитесь, трусы! — бешено заревел Сеитов. — Куда бежать? Переяславцам на потеху, что ли? Умрем здесь: двум смертям не бывать, одной не миновать!

Его слова еще раз внесли бодрость в сердца оробевших воинов, тем более что он, действуя не словом только, но и делом, сам вы-

двинулся в передний ряд с бердышем в руке, готовый грозно встретить наступающего врага.

— Стрельцы! — крикнул он громко. — Ставь фузеи на рогатки! Цель вернее, не теряй попусту зарядов! Дай подойти поближе и валяй наверняка!

И все смолкли, все замерли в ожидании медленно и осторожно наступающего неприятеля. Вот темные ряды его подошли на выстрел, вот двинулись дальше и приблизились шагов на шестьдесят. Можно было уже различить одежду и вооружение, разобрать лица наступающих. Явственно слышался их говор и топот коней на правом фланге.

А ростовцы все стояли неподвижно, сосредоточенно и сумрачно устремив взоры на врага, словно окаменелые стояли в рядах стрельцы, оперев тяжелые оружия на рогули и готовые поджечь фитилем порох на затравке.

Сеитов глянул перед собою и, высоко подняв бердыш, крикнул во все горло:

— Пали!

Грянул залп из двухсот пищалей, и в рядах

вражьей рати произошло некоторое замешательство, даже приостановка. Один из неприятельских вождей, высокий, рыжий литвин на статном белом коне, ткнул в луку седла, и испуганный конь, шарахнувшись в сторону, помчал его прямо на ростовцев...

Но тотчас же вслед за залпом в рядах тушинцев и переяславцев раздался громкий, всеми подхваченный крик, и все они бросились на ростовцев... Еще мгновение — и они обрушились на небольшой отряд Сеитова, охватили его со всех сторон и с дикими, неистовыми воплями схватились с ростовцами в последнем отчаянном натиске.

Крики, вопли, ругань и стоны слились в один ужасающий рев и гул...

— Коли, руби, бей их, анафем! Попались, гужееды! За мной, ребята, вперед!..

— Вали в обход! Бей их, так-так! Любо, любо! — вот что в каком-то диком хаосе носилось над остервенелюю толпою бойцов.

Как храбро ни бились ростовцы, как ни метался разъяренным вепрем по рядам их Третьяк Сеитов, они были буквально раздавлены огромной численностью врага. На одного ро-

стовца приходилось чуть ли не по пяти тушинцев и переяславцев. Мужественный воевода пал один из первых, изрубленный саблями и поднятый на рогатины. Вскоре после того бой превратился в простое избиение... Обойденные отовсюду, лишенные возможности защищаться, несчастные ростовцы наконец бросились врассыпную, преследуемые по пятам разъяренными и торжествующими врагами.

Стук оружия, вопли и крики, топот коней и стоны раненых и умирающих огласили тихие улицы старого, мирного городка, разнося ужас и оцепенение.

Вскоре защищаться уже было некому, и вражья сила широкою бурливою волной залила весь город до кремля, всюду врываясь в дома, все разоряя, разрушая и грабя на пути... Хвост тушинского отряда еще тянулся по дороге к городу, когда его передние ряды уже врывались шумною, дикою и беспорядочною толпой в ростовский кремль, никем не защищаемый, и охватывали собор и соборную площадь, ломаясь в храмы, вышибая двери у погребов и складов товарных, всюду разыскивая

добычи для своей ненасытной корысти.

Эта толпа, неистовая в буйстве и дерзости, обрызганная кровью храбрых защитников Ростова, кинулась было на паперть соборную с криками:

— Вышибай двери! Бревно сюда тащи! Ломай! Там есть чем поживиться! Теперь все наше!

Тяжелые железные двери собора отворились как бы сами собою, и на пороге их появился митрополит Филарет, в полном облачении своего сана, в блистающей митре, с Животворящим крестом в руках, окруженный клиром. В его прекрасном, выразительном лице незаметно было ни тени страха или тревоги, а вся его высокая, осанистая и величавая фигура, ярко выступавшая на темном фоне внутренности храма, с его огнями лампад и свечей, с его облаками фимиама, должна была поразить каждого и не только внушить к святителю уважение, но даже пролить робость и некоторый суеверный страх в сердца дерзновеннейших... Вот почему осели и попятились перед ним передние ряды тушинцев и казаков, которым он предстал как

видение, окруженное блестящим, неотразимым ореолом святости.

— Чего пришли вы искать сюда, обрызганные кровью наших братьев! — сказал Филарет, спокойно озирая стоявшее перед ним темное сонмище. — Или не довольно вам того, что вы их побили, осиротя их семьи, повергнув в бездну скорби и стенаний их матерей, жен и сестер?.. Или не довольно того, что вы теперь властною рукой хозяйствуете здесь, в городе, расхищая животы и имение, накопленное многолетним трудом, заботами и усердием граждан? Неужели вы, обагрив руки кровью ни в чем не повинных людей, хотите еще усугубить грех свой, дерзко вторгаясь во храм, налагая святотатственную руку на его древние святыни, оскверняя его насилем и позорными деяниями? Заклинаю вас именем Божиим, заклинаю всеми ростовскими чудотворцами и подвижниками...

— Да что вы этой лисы заслушались? — крикнул кто-то сзади. — Вали прямо в собор!

— Не смейте! Не дерзайте! — громогласно воскликнул Филарет, заступая дорогу и высоко поднимая над головой крест. — И пусть

этот крест будет вам преградой!

— Берите крест из рук его, в нем пять фунтов золота! — закричал, пробиваясь сквозь толпу, переяславец.

И несколько рук разом ухватились за крест, вырывая его из рук святителя.

— В собор, в собор! — заревела толпа. — Там и серебра, и золота на всех нас хватит!

И, притиснув Филарета к стенке, толпа хлынула мимо него внутрь собора, а около Филарета, как из земли, вырос высокий и дюжий казак с свирепым лицом, в богатом кафтане с золотыми петлицами.

— Бери его! Срывай с него долой всю эту парчовую шелуху! — крикнул он окружающим, которые мигом ободрали с митрополита богатые ризы, сорвали с его головы митру и оставили его только в одном темном подряснике.

— Вот так! Теперь оденьте-ка его в казацкий кобеняк да крутите ему руки за спину. Эй, есаулы! Я его вам поручаю, головою за него ответите, коли уйдет. Мы его царю в подарок свезем, в Тушино. Ну, тащите его в обоз, чтобы он тут не путался!

Кто-то со стороны нахлобучил на голову Филарета рваную татарскую шапку. Несколько дюжих рук ухватили его за плечи и за локти и повлекли через толпу к воротам кремля.

Покончив с Филаретом, свирепый казацкий атаман, окруженный своими есаулами, вступил в собор, в котором уже распоряжались тушинцы, судя по крикам и плачу, которые слышались в разных углах храма. Не спеша также вошел он под древние своды и гаркнул во весь голос:

— Ребята! Баб, девок и детей забирайте с собою и всех гоните в обоз!.. Старух всех в озеро, а остальных приканчивайте здесь, чтобы никто не вышел живой!

Грозный оклик его прозвучал, как крик зловещей птицы, и пронесся под сводами... В ответ ему раздался взрыв шумных, неистовых восторгов со стороны тушинцев, казаков и переяславцев, которые свирепствовали хуже всех. Пошла ужасная расправа...

Стоны, мольбы, проклятия, вопли наполнили весь храм и обратили его в какую-то страшную геенну, с нескончаемым «плачем и скрежетом зубовным...». Новые и новые вата-

ги разбойников и грабителей врывались в храм и, мешаясь с тесною толпой укрывшихся в храме людей, убивали беспощадно мужчин, а женщин насильно тащили из храма, срывая с них по пути одежды и украшения, а многим не оставляя даже необходимого покрыва для их стыдливости. Детей вязали десятками и гнали перед собою бичами, как стадо баранов, на глазах исступленных, полупомешавшихся матерей.

— На выкуп пригодятся! — смеялись злодеи, презрительно отворачиваясь от плачущих матерей.

И в то самое время как одни вязали и гнали перед собою молодых девиц и женщин, запасаясь полонем, другие рассыпались всюду, проникая в алтарь, в ризницу, в приделы. Одни тащили оттуда грудями богатые облачения, шитые золотом и низанные жемчугом, другие охалками несли кадила, дарохранильницы, ковчеги с мощами, ободранные оклады священных книг, третьи сдирали ризы с икон или топорами рубили на куски окочеванные серебром раки угодников... Тут драка за добычу, там дикая, бессмысленная бойня

над беззащитными и хилыми жертвами разнузданной, разнородной и разноплеменной шайки отважных разбойников. Всюду опрокинутые аналои, разбитые лампы, сорванные с цепей паникадила, лохмотья одежды, разбросанные среди скользких луж крови, трепетные тела несчастных, подергиваемые последними содроганиями, и страх, и ужас, и позор невообразимой оргии безумия, насилия и святотатства!..

IX ОТ МРАКА К СВЕТУ

В то время когда неистовые крики ворвавшихся в кремль тушинцев уже долетели до беззащитной толпы несчастных, укрывшихся под кровлей храма, как в последнем убежище, в то время когда митрополит Филарет, стараясь всем преподать утешение и вкоренить твердость духа, смело пошел, окруженный клиром, навстречу смерти и позора, Марфа Ивановна почувствовала, как кто-то крепко сжал ей руку и шепнул поспешно:

— Пойдем, государыня!

Сама не отдавая себе отчета в том, что она делает, Марфа Ивановна двинулась вслед за Сенькой, который вел за руку Танюшу и Мишу, помертвевших от страха. Он ввел их в северные двери алтаря, тотчас же свернул через маленькую дверку в алтарь смежного придела, подвел их к древней, потемневшей иконе Леонтия Ростовского, на которой святой угодник был писан во весь рост, с благословляющею рукой. Подойдя к иконе, Сенька опасливо оглянулся во все стороны, как бы желая убедиться в том, что никто за ним не следит и не наблюдает, потом сдвинул чуть-чуть в сторону резной аналой, стоявший около иконы, ухватился за нижний край, приподнял всю икону с некоторым усилием и повернул ее на невидимых внутренних петлях... Открылась узенькая и темная лазейка в темной каменной стене собора, с трудом можно было отличить вверху ее округлый свод, круто опускавшийся книзу, а внизу каменные ступени. Холодом и могильного сыростью повеяло из этой темной щели...

— Государыня, входи туда скорее! Детей бери с собою! Спускайтесь ощупью, а я за вами.

Ужас изобразился на лице Марфы Ивановны; крепко ухватив детей за руки, она остановилась у входа в лазейку, трепеща и колеблясь... Ее колебания, конечно, тотчас отозвались и на детях.

— Мама, я боюсь! — шепнул ей Миша, прижимаясь к ней и приклоняя голову на ее руку.

— И мне страшно... Там такая темнота! — проговорила Танюша.

В это мгновение до их слуха еще раз резко и явственно долетели неистовые крики от входных дверей собора... За криками последовали такие удары в дверь, от которых гул пошел по всему собору...

— Не медли, государыня! Не то возьму детей по воле и приказу господина и ждать тебя не стану! — решительно проговорил Сенька, хватая Мишу за руку. — Мне этот путь знаком...

Марфа Ивановна не решалась ему противиться. Она первая вступила в лазейку и протянула руки детям. Минуту спустя и она, и дети исчезли во мраке глубокой щели, а Сенька, ступив на первую ступень потайного хода,

стал осторожно придвигать аналой к стене, насколько это было возможно, затем притворил плотно икону, писанную на толстой дубовой двери, прикрывавшей лазейку, заложил дверь крюком изнутри и последовал за Марфой Ивановной и ее детьми, уже спускавшимися ощупью по узкой и скользкой каменной лестнице.

— Пстой-ка, государыня! Дай мне вздуть свечку, все не так жутко деткам будет! — сказал Сенька, протискиваясь вперед Марфы Ивановны.

Звякнуло кресало о кремень, посыпались искры в темноте, затлелся красною искоркою трут, который Сенька стал раздувать, причем среди тьмы на мгновенье обрисовалось его лицо и борода, охваченные пятном красноватого света. Вот вспыхнула желтым пламенем одна свечка, потом другая и третья, которые Сенька раздал своим спутникам, а сам зажег лучину, вероятно припасенную заранее, и у всех сразу как будто отлегло от сердца.

Осветились низкие, сырые своды лазейки, поросшие зеленью и белою плесенью, блиставшие каплями влаги, холодными струями

стекавшей по обеим стенам, невдалеке обозначился и конец лестницы, с которой инокиня Марфа с детьми спускались с таким трудом, предосторожностями и опасением.

Лестница оканчивалась там, где фундамент стеной кладки, сложенный из громадных камней, упирался в материк, сухой и песчаный.

Тут ход значительно расширился, и два человека могли по нему идти рядом, не особенно стесняя друг друга, и дышалось здесь легче, и воздух был теплее и Суше... На известных расстояниях от стены хода, то по правую, то по левую руку шли узкие «слухи» до самой поверхности земли, и сквозь них проникал местами чуть заметный, еле брезживший луч света... Но самому ходу, который изворачивался то вправо, то влево, казалось, и конца не было!

Марфа Ивановна, дети и Сенька шли по нему уже около трех четвертей часа, пробираясь в полутьме, скупо озаряемой светом трех свечей и лучиной, а впереди была все та же непроглядная тьма изворотов этого хода, те же стены теснили и справа и слева, тот же

свод тяжким гнетом давил сверху.

— Сеня, голубчик, куда же это ты ведешь-то нас? — простонала наконец Марфа Ивановна, изнемогая от усталости и волнения.

— Небось, государыня! Знаю я, куда веду! Вот еще тридцать два колена перейдем да вправо на полсотни шагов зададимся — тут уж и к выходу близехонько будет.

Такая уверенность верного слуги оживила душу Марфы Ивановны надеждою, и она смелее и тверже двинулась далее, крепко сжимая руки детей в своих холодных и трепетных руках.

— А где же батюшка-то наш? Он идет ли за нами? — шепотом спросила Танюша у матери.

— Не знаю, голубушка, но верю в то, что Господь сохранит его от лютых врагов и укроет под кровом Своим! — отвечала мать со вздохом.

В это мгновение Сенька поднял лучину кверху и проговорил радостно:

— А вот и последняя поворотка, государыня! Вон в конце ее и свет Божий видится, как об-

лачко аль паморочек...

Действительно, вдали забелелось какое-то светло-серое пятно, на которое наши скитальцы направились с облегченным сердцем... Их не смущало уже и то, что лучина в руках Сеньки с треском погасла и их собственные свечи уже догорали. Издали потянула легкая струйка свежего воздуха, здесь уже заметно проникавшего в затхлое и темное подземье.

— А там-то что же? Там-то, Сеня? — допрашивала тревожно Марфа Ивановна.

— Там?.. Дай только Бог туда добратсья... Там спасенье наше... Там простор и воля. Лишь бы вороги на нашу лазейку не наткнулись вскоре...

И он ускорил шаг, почти таща за собою Мишу и Танюшу, и ободрял Марфу Ивановну, кивая головою в сторону все еще далекого серого пятна...

Х В УКРЫТИИ

Вот, наконец, уже и выход из подземелья близок, и среди его неопределенных очертаний блестит и синее что-то... Вот уж несколько шагов остается до выхода, но Сенька останавливает своих спутников:

— Постой, матушка, государыня! Стойте, детки! Надо мне вперед вас выглянуть да посмотреть, нет ли вблизи какой опасности?

И он осторожно, почти ползком, выбрался из подземелья на берег озера, оглянулся во все стороны и, не видя кругом ни души, направился к тем густым зарослям, в которых был укрыт его челнок.

Немного спустя он уже спустил его на воду, усадил в него Марфу Ивановну с детьми, а сам, став на корме, взял весло в руки, перекрестился и промолвил:

— А ну-ка, благословясь! — и затем ловким и смелым движением оттолкнулся от берега.

Легкие, набегающие волны зашлепали под носом челнока, и все внимание детей сосре-

доточилось на этом быстром и новом для них движении по водной поверхности. Одна только Марфа Ивановна не могла оторвать глаз от блиставших вдали куполов и крестов Ростова, от которого доносился чуть слышный и неопределенный гул и шум. В двух местах курился над городом дымок, как бы от разгоравшегося костра.

«Боже, Боже! — думала несчастная женщина, с трудом удерживая слезы. — Что с ним случилось? Вынес ли его Господь из пасти львиной... Свидимся ли?»

— А вот, матушка! Глянь-ка, глянь! — сказал Сенька. — Изволишь видеть там деревушку на берегу, еще две ели над ней высоко-высоко вынесло — это и есть наш приют!.. Там нас и ухоронят, и поберегут, и ворогу не выдадут...

Марфа Ивановна должна была невольно отвлечься от своих грустных дум и обратить внимание на поселье, в котором им предстояло укрыться, надолго ли, она и сама того не знала.

— Сорочьим Бердом эта деревня зовется... Мужики в ней все такие справные живут. А

уж кума-то моя, так это такая баба, что никому мужику не уступит, с шестью сынами да с шестью невестками во вдовстве справляется, и все у ней в струне ходят. Сама посуди, какова?

Между тем как Сенька все это объяснял Марфе Ивановне, на берегу, пониже Сорочьего Берда, их уже поджидали два человека, укрываясь между прибрежными зарослями: высокая, благообразная старуха лет под шестьдесят, в синей поневе и в кике с золоченым налобником, и парень лет двадцати пяти, здоровенный и красивый.

— Васюк, а Васкж! Глянь-ка на озеро, небось это не наши ли бояре едут? — говорила старуха, расталкивая парня, который уже начинал дремать на стороже.

— Кажись, что дядя Семен на челне стоит, а остальных-то не доглядеть!

— Не доглядеть? Вахлак! Ей-Богу, вахлак! Твоими-то глазами да не доглядеть? Да я в твои годы сквозь землю на сажень видела!

Но скоро уже не было возможности сомневаться. Сенька аукнул с челна, а парень отозвался утиным кряканьем, и Сенька, тотчас

воззрившись на берег, свернул челн как раз к тому месту, где кума с Васкжом его ожидали.

— Милости прошу к нашему бережку, — проговорила приветливо старуха, вместе с сыном подтягивая челн к песчаному откосу берега. И она подала свою большую, сильную руку Марфе Ивановне и помогла ей сойти с челна, в то время как Васюк и Сенька высаживали боярчат.

— Ну, не прогневайся, боярыня! — продолжала старуха. — Хоть и негоже гостей на берегу принимать, а придется... Надо тебе тут с детьми пробыть в укрытье до сумерек, а как за вечеряет, тогда провожу тебя и в избу к себе, и дальше, коли Бог даст.

Потом, обращаясь к сыну, она сказала:

— Васюк, сгони челн к рыбакам, чтобы на нас следа не было.

— Да пущай бы он, матушка, тут до сумерек постоял, — неохотно отозвался сын.

— Чаво? Аль приказа моего не слышал? Как смеешь из моей державы выходить? Сказано гнать, так гони! — грозно крикнула старуха.

И Васюк тотчас вскочил в челн и был та-

КОВ.

— Вот детки-то ноне каковы, Сенюшка! — наставительно обратилась к Сеньке его кума. — Ему приказ, а он тебе сказ! Им только поддайся!

— Ну, кума! У тебя они не много наскажут, — смеясь, отвечал ей Сенька. — У тебя с детками расправа короткая.

— Еще бы! Дай им над собою озорничать! Пусть сначала меня схоронят да камнем привалят, тогда уж их воля.

И она умно, последовательно, толково изложила Марфе Ивановне всю систему своего отношения к детям и их семьям, жившим под одною крышею и не выходившим из-под ее начала. И все, что она говорила, рассказывала и обсуждала, было в такой степени любопытно и поучительно, что Марфа Ивановна и детки заслушались умной старухи и не заметили, как наступили сумерки и первые звездочки замигали между вечерних облаков на потемневшем небе.

— Ну, теперь и нам пора по домам! — сказала старуха, поднимаясь с обрубка, на котором она сидела со своими собеседниками.

Все поднялись вслед за нею и двинулись по прибрежной тропинке к задкам деревни. Когда они подошли к осеку, было уже настолько темно, что непривычному человеку было нелегко пробираться по кочкам и рытвинам пашни, спускавшейся к озеру, и Сеньке пришлось поддерживать Марфу Ивановну под руки, между тем как тетка Анисья (так звали Сенькину куму) вела за руку Танюшу и Мишу. Наконец она остановилась перед небольшою и темною избушкой, которая единственным волоковым окном смотрела на озеро. Кругом расставлены были на шестах и подвесках под крышей верши и вентера,[3] а разные крупные и мелкие рыболовные сети развешаны были по стенам избушки.

— Вот, матушка, не взыщи на хоромах, — сказала тетка Анисья. — Там хошь и темно, да чисто и тепло, лен тут сушим и мнем... Печь истоплена, лавки вымыты... Да вы, чай, и голодны? Так на столе и ужин про вас припасен. Пожалуйте!

Марфа Ивановна не без труда переступила высокий порог сеничек избушки и, наклоня голову, прошла в первую дверку, а затем вме-

сте с детьми вступила через другую дверку в избушку.

Старуха тотчас вздула огонек на загнетке печи и зажгла лучину, которую и защемила в светец.

— Вот, господа бояре, и сенники для вас на лавках, изголовьица. А вот и вечеря ваша!

Она указала на каравай хлеба, на горшок молока да на лукошко меду, поставленные на стол.

— Спице спокойно, сторожить вас сыновей поставлю, как зеницу ока сберегу, коли запоручилась... Только огня не жгите долго, чтобы со стороны не заприметили... Ну, Господь с вами и Его святая сила. А завтра погадаем, как вас дальше путем-дорогой пустить повернее.

И, отвеся низкий поклон, тетка Анисья удалилась.

Оставшись наедине с детьми и Сенькой, Марфа Ивановна прежде всего позаботилась о том, чтобы накормить детей и уложить их поскорее спать, потому что после всего пережитого ими в тот день и после продолжительного пребывания на воздухе и Танюша, и

Миша едва держались на ногах и почти падали от усталости.

Когда дети были уложены и заснули, Марфа Ивановна обратилась к Сеньке, стоявшему у порога, с вопросом:

— Сенья! Куда же теперь мы голову приклоним? Куда пойдём?

— Туда и пойдём, государыня, куда господин идти приказал.

— Господин? — с недоумением спросила Марфа Ивановна.

— Господин и твой и мой — Филарет Никитич... У меня от него на все про все и для тебя, и для меня самый точный приказ дан...

— Так это ты и вел нас по его приказу?

— Вестимо, по его воле, государыня! Он провидел еще накануне, что беды не миновать... Под клятвою мне эту лазейку в приделе указал и челн припасти велел...

— Так, значит, он озаботился о том, что и дальше нам делать? — воскликнула Марфа Ивановна, всплеснув руками.

— Обо всем позаботился, государыня, да так и сказал мне: «На случай, если меня Бог приберет, действуй так и госпоже своей мою»

волю передай. Волю и благословение, навеки нерушимые».

— Боже мой! Боже мой! — зарыдала Марфа Ивановна, закрывая лицо руками. — О нас, о нашем спасении позаботился, а сам на верную смерть пошел... На гибель...

— Авось милостив Бог! — вздыхая, проговорил Сенька. — Может быть, и вынесет господина из беды. Но только я о нем вестей ждать не смею. Я должен завтра же и дальше в путь...

Марфа Ивановна не осмеливалась и спросить, куда и когда он двинется, чуя над собой невидимую, высшую волю. Сенька это постиг чутким сердцем своим и потому, не спрошенный госпожою, продолжал:

— Мне приказано завтра же Мишеньку взять и скрытным делом, как бы своего ребенка, свезти на Кострому, как Бог даст, а оттуда к Москве пробираться окольным путем и сдать твое детище на руки боярину Ивану Никитичу... А тебе, государыня, повелено здесь пока оставаться, пока путь на Ипатьевский монастырь чист окажется, и тогда тебе с дочкой в тот монастырь под охраной верных лю-

дей ехать и там пребывать, пока я из Москвы за тобою приеду.

— А где же я верных людей возьму? — спросила опечаленная Марфа Ивановна.

— На то я тебя к куме и привел, чтобы тебе их не искать, — сказал Сенька. — Им можешь довериться... Они тебя от всяких бед оберечь сумеют... Ну, государыня, прости, на отдых всем нам пора. Я завтра чем свет вести получу и в путь двинусь.

Он поклонился низенько и ушел спать в сенички. А Марфа Ивановна еще долго сидела за столом, погасив лучину, пока, наконец, легкий и спокойный храп детей, давно уже забывших о действительности и ее бедствиях, не напомнил ей, что силы будут ей необходимы завтра и что их следует поберечь, если не для себя, то для блага детей. Она неслышно поднялась со своего места, перешла избушку и прилегла на лавке рядом с широко раскидавшимся Мишей.

— Храните его вы, светлые ангелы! — шептала она, засыпая и крепко сжимая сына в своих объятиях.

Чуть только заря занялась на востоке, тет-

ка Анисья уже постучалась в двери сеничек, где спал Сенька.

— Чего? Чего? Кто там? Сейчас! — забормотал Сенька, стараясь очнуться от сна, который совсем одолел его под утро.

— С добрыми вестями, куманек! — пробасила ему тетка Анисья из-за двери. — Отпирай скорее — в путь пора.

Сенька вскочил на ноги, протирая глаза и натягивая кафтанишко на ходу, и отпер дверь.

— Тебе кляченька готова — в воз с сеном впряжена! И путь, сын старший сказывает, на полсотни верст чист от всяких воровских людей. Ехать тебе отсель на Чемерю, да на Сидорову Горку, да на Ахлестышево, да на Боярцину Боровую.

— Знаю, знаю, кумушка! До самой Костромы, почитай, наизусть все деревни помню.

— Ну, коли помнишь, так буди своего боярчонка, надевай на него одежонку крестьянскую и лаптишки с оборами... Вот тебе тут все в узле припасено. Кстати сказать, у меня и для боярыни есть вести... Тоже из худых лучшенькие...

Сенька не заставил себе повторять эти слова, тотчас постучался в избу, и когда Марфа Ивановна отворила ему дверь, он попросил у нее дозволения переодеть Мишеньку в крестьянскую одежду. Марфа Ивановна ничего ему не ответила и только глубоко вздохнула, когда Сенька стал быстро и ловко раздевать разоспавшегося ребенка и заменять его боярское платье и белье грубой крестьянской домотканиной и дерюгой. Особенно было ей больно видеть, когда Сенька снял с ног Мишеньки красные сапожки и, окутав их чистыми онучами, обул ему лапти и стал обматывать темными оборами.

— Боже праведный! — воскликнула она. — До чего мы дожили? Кто бы мог этого ждать?

— Э-э, матушка! И лучше, что не ждала этого. Ждавши-то небось хуже б мучилась!.. — сказала тетка Анисья, помогавшая Сеньке обувать Мишеньку. — А я, кстати сказать, тебе весть принесла на утеху.

— Весть?! Какую? О Филарете Никитиче? — быстро спохватилась Марфа Ивановна, обращаясь к старухе.

— Догадлива же ты! Сердце сердцу весть

дает... Вестимо, о господине митрополите. Ныне молодцы из города пришли, так говорили, жив, мол, он и невредим... Ворами взят в полон и под крепкой охраной отправлен в Тушино, к ихнему царьку.

— В Тушино? — воскликнула Марфа Ивановна.

— Так сказывали. А других посекли, поувечили многое число, таскали, вишь, из собора потом да так на площади грудями и покинули...

Ужас охватил Марфу Ивановну при мысли о том кровопролитии, от которого она была избавлена каким-то чудом.

— Ну вот! И обряжен молодец, а и проснуться-то ему не вмоготу, — добродушно заметила тетка Анисья. — Прощайся с ним, матушка! Мы его сонного так на воз и несем...

И она подхватила сонного Мишу, как перышко, на руки и поднесла к Марфе Ивановне, которая его благословила и поцеловала в лоб, не сказав ни слова.

Но когда тетка Анисья со спящим ребенком на руках, а за нею и Сенька, простившись

с Марфой Ивановной, скрылись за дверью, несчастная мать бросилась к той лавке, на которой брошена была одежда ее сына, опустилась на нее и разрыдалась горько и неутешно...

XI НА ВОЛОСОК ОТ БЕДЫ

Некоторое время спустя старая, разбитая на передние ноги кляча, впряженная в небольшой воз сена, наваленный на дрянную, скрипучую и некованную тележонку, вывозила воз задами с противоположного конца деревни, направляясь по большой проезжей Костромской дороге. На возу, прикрытый драным зипунишкой, лежал и дремал курчавый и румяный мальчик в простой и поношенной крестьянской одежонке. За возом шагал высокий и сухощавый мужик в рваном сером кафтанишке, в лаптях, в обтрепанной суконной шапчонке. Помахивая кнутиком и покрикивая на бурую кобылку, весьма лениво передвигавшую ноги, он мурлыкал под нос песенку, а сам думал свои думы:

«Вот кабы теперь только к полудню до Горки добраться да боярчонка туда благополучно довести, так, отдохнувши, можно бы до вечера еще десятка полтора верст сделать... А тетки Анисьи сын сказывал, что на полсотни верст путь чист от воровских шаек».

— Мама, мама! Где ты? — испуганно вскрикнул Миша, приподнимаясь на возу и оглядываясь кругом с изумлением.

— Мишенька! А, Мишенька! — крикнул ему в ответ Сенька. — Матушка за нами следом тою же дорогою едет, а нам приказала вперед поспешать... Я с тобою послан, и ты ничего не бойся!

— А где же мое платье? Зачем на меня это надели?.. И сапожки с меня сняли красненькие...

— Так матушка с батюшкой приказали, потому тут на дороге разные дурные люди ездят, могли бы у тебя твою одежонку отнять, а этой не возьмут... Никому не нужна!

— А та-то где же? — с грустью спрашивал мальчик. — Я сапожки те очень любил...

— Твоя боярская одежда с сапожками у матушки осталась... Да в тех сапожках по пыль-

ной дороге и ходить негоже... Пожалуй-ка сюда с возу, пойдём со мною рядком...

Он помог мальчику слезть с воза, повел его за руку и стал ему рассказывать, какой ему путь предстоит пройти, и сколько дней они в пути будут, и какие у них могут быть лихие встречи на пути, и как ему надо остерегаться, не называясь своим настоящим именем.

— Называйся всем Касьяном, моим племянником. А станут спрашивать, откуда ты родом, говори, из-под Костромы...

И мальчик все внимательно выслушал и мало-помалу входил в свое положение, тягостное положение скитальца, укрывающегося от каких-то страшных, неведомых ему врагов...

— А что, если нам вороги на дороге встретятся да укрыться от них негде будет? — спросил Миша своего пестуна. — Разве уж тогда мне в сено зарыться!

— Нет, батюшка! От лютого ворога в сене не укроешься, лучше уж ему прямо в глаза смотреть... Потому Бог-то над всеми нами...

И не успел он этого договорить, как закурилась вдали пыль на дороге, заблестали в

клубах ее копыта да шеломы, слышался громкий топот коней подступающего конного отряда, который высыпал на повороте дороги из-за темного бора.

Сенька глянул вперед, прикрывая глаза рукою, и нахмурился.

— Вот они, бесовы дети!.. Легки на помине! — пробормотал он не без некоторого волнения.

— Ой, Сенюшка, боюсь я их! — прошептал Миша, боязливо прижимаясь к своему пестуну.

— Не бойся, дружок, да помни, что ты мой племянник... Крестьянскому мальчонке что они поделают?

И, говоря это, бросился вперед, к своей бурой кобыле, и стал поспешно отводить ее вместе с возом на обочину дороги.

— Стой! Стой! — закричало ему разом несколько голосов, и целая гурьба каких-то всадников в разных одеждах, на разношерстных конях окружила наших путников. Судя по наружности и одежде, тут были и казаки, и литва, и всякий местный сброд.

— Что везешь? Куда везешь? — гаркнул

над самым ухом Сеньки долговязый и чернявый запорожец и, нагнувшись с коня, ухватил его за ворот.

— Чай, сам изволишь видеть, что везу! — ухмыляясь принужденно, отвечал ему Сенька, снимая шапку. — Одно сено на возу.

— Вижу, что сено, чертова кукла! А под сеном-то что? — грозно рывкнул казак.

— А и под сеном сено же, — равнодушно отвечал Сенька.

Запорожец выпустил Сенькин ворот из рук, подвернул коня к возу и что есть мочи ткнул копьём в воз... Его примеру последовали и его товарищи, а потом один из них не поленился слезть с коня и долго шарил в возу руками и тыкал в него во всех направлениях саблею.

— Да хоть весь воз опрокиньте, то же будет, — сказал Сенька. — Везу сенцо для своей клячонки, чтобы не покупать дорогой.

— В возу и точно ничего нет, — сказал тот, кто в нем рылся.

— А мальчишка чей у тебя? — спросил Сеньку запорожец, оглядывая Мишу.

— А свой же. Племянник, сестрин сын. К

сестре и веду его, надоел мне без матери на-
смерть — мама да мама. Ну, и веду.

— Обыскать его! — крикнул запорожец, ко-
торый, по-видимому, был начальником этого
небольшого отряда.

Несколько дюжих молодцов принялись
живо обыскивать Сеньку, размотали его ону-
чи, вывернули карманы, порылись за пазу-
хой и сыскали на нем всего только два алты-
на, которые запорожец не побрезговал опу-
стить в свой карман.

Потом, пока Сенька поправлял на себе
одежду, тот спросил его о дороге к Ростову, о
том, что там делается и давно ли там Лисов-
ский с Заруцким хозяйничают? На эти по-
следние вопросы Сенька прикинулся совер-
шенно ничего не знающим, сказав только, по
обычаю многих русских людей, что «он-то че-
ловек темный, под Ростовом живет, а в Росто-
ве уж второй год не бывал».

Запорожец в ответ на это только выругал-
ся сквозь зубы и поехал вперед, за ним двину-
лись и все его спутники, справа и слева объ-
ехав Сенькину клячонку, гремя и звеня оружи-
ем, которым они были обвешаны, и звонко

выбивая дробь коваными копытами своих
рослых и сытых коней.

Когда вся полусотня прорысила мимо на-
ших путников, обдавая их шумом и клубами
пыли, Сенька перекрестился и прошептал
про себя:

— Пронес Господь!

Потом, обратившись к Мише, который ни
жив ни мертв стоял около воза, он прогово-
рил ему в утеху:

— Вот видел? Каково бы было, кабы ты от
них в возу укрываться стал? Весь воз исколо-
ли, кто копьем, кто саблей... А тебя и неукры-
того сберег Господь... На все Его святая воля!

Он спокойно вывел свою бурую кобылку
на дорогу и, взяв Мишеньку за руку, с облег-
ченным сердцем зашагал опять за возом по
дороге, покрикивая на буреху и мурлыча под
нос песенку.

XII

ПОД РОДНЫМ КРОВОМ

Весна 1610 года наступила в Москве и на всем севере Московского государства сухая и теплая, снега сошли рано и незаметно, вешних вод почти не было, и в конце апреля лист на деревьях был уже такой, какого в иные годы и в конце мая не бывает... На солнце было жарко, и в тесных московских домах становилось душно, везде выставляли зимние рамы, везде распахивались настежь наглухо забытые на зимнее время двери из хором на садовое крыльцо, а сады начинали подчищать и убирать по-летнему, раскутывая в них плодовые деревья, вскапывая гряды и рассадники.

И на обширном боярском романовском дворе, в саду и в огороде, кипела работа. Десятка два дворовых холопов под надзором Сеньки и Скобаря усердно вскапывали только что опревшую землю лопатами, таскали землю, песок, позем и старую листву, подрезали и подвязывали деревья и рассаживали молодые кусты.

— Вот, братцы, глянул я на яблоньку, — говорил Сенька, обращаясь к рабочим, — и диву дался! Как все у Господа Бога мудрено устроено!.. Ведь эту яблоньку я из Костромы за пазухой привез в ту пору, как мы с Мишенькой из Ростова от тушинцев бежали, а уж она теперь и во какая стала, году не пройдет, на ней уж и яблоки будут!

— Это ли диво, Семен Иванович! — смеясь, отозвался Скобарь. — Не мало ведь с той поры и времени прошло, в ту пору ты с Мишенькой-боярчонком из Ростова бежал, и тому боярчонку шел одиннадцатый годок, а ноне уж он и не Мишенька, и не боярчонок, а Михайло Федорович Романов, с той поры как его великий государь Василий Иванович в стольники пожаловать изволил. И сестрица его, Татьяна Федоровна, тоже уж замужем и княгиней стала. С той поры ведь третий год идет, а в такое время мало ли воды утекает?..

— И то правда твоя, Степанушка! Время бежит, нас не ждет. Да время-то такое, что хуже безвременья! — со вздохом проговорил Сенька, поглаживая свою сильно поседевшую бороду. — Который уж год на наших бояр беда

за бедою так и идет, и надвигается, что туча за тучей... Вот теперь опять третий год боярин наш... то бишь, митрополит Филарет Никитич во вражьем полону, в узах у тушинцев обретається, а за последние недели и весть о нем запала... Знаем, что Тушино выжжено, что все их скопище врозь разбрелось, а где его милость — неведомо...

— Да где тут и сведать было! — вступился один из холопов, приостановив работу и опираясь на заступ. — То обсылки с Тушином каждый день бывали, а то как блаженной памяти князь Михайло Скопин-Шуйский на злодеев напустился, так и Тушино то все врозь разлетелось, не от кого и вести добыть стало!

— Ох, не в пору ты вспомнил, брат, о князе Михайле! Царство ему небесное! — проговорил Сенька, крестясь. — До сих пор по нем вся Москва слезы ронит... В три недели никто его не забыл, а о другом бы на пять дней людской памяти не хватило! Истинно посетил нас Бог! Последнюю у нас надежду отнял... И что теперь будет? И кто теперь за нас заступником будет? Неведомо.

Старый, верный слуга Романовых смолк и

задумался, и беседа, вызванная его замечанием о яблоньке, прервалась на полуслове. Все опять деятельно и усердно принялись за работу.

В это время на дорожке, которая между густых кустов вела из огорода к крыльцу боярских хором, показался мальчик лет двенадцати, стройный и миловидный. Русые кудри выбивались у него из-под бархатной шапочки, отороченной соболем, яркого цвета терлик, сплетеными шелковыми застежками и кистями, обхватывал его еще тонкий отроческий стан. Жмурясь от солнца и прикрыв глаза рукою, он оглянул холопов, работавших в огороде, завидел Сеньку и, окликнув его, махнул ему рукою.

— Вот он, стольник-то наш именитый! — проговорил Сенька, весь просияв. — Не долго без меня насидел... О своем пестуне вспомнил... Сейчас, сейчас, иду, иду!

И он бегом пустился по огороду, насколько позволяли ему его старческие ноги.

— Сеня, куда это ты запропастился? — спросил его Мишенька. — Сказал, посмотреть в огород пойдешь, а сам и засел там, словно

корни пустил.

— Нельзя ж, батюшка Михаил Федорович! Без надзорного глаза хозяйскому добру везде ущерб да убыток. А мне твоего добра жалко.

— Моего добра тебе жалко, а меня покинуть не жалко? — ласково укорил Мишенька. — А мне, Сенюшка, так-то скучно, так скучно сегодня, что я тебе и пересказать не могу.

— Да что же это с тобою попритчилось, дружок? Кажется, и спал спокойно, и встал хорошо?

— Об отце я раздумался, и думы все такие нехорошие в голову лезут... И жив ли то он? И не замучен ли злодеями? Вестей-то о нем ведь уж вторую неделю нет, и даже куда послать за вестями, не знаем.

— Кабы знали, откуда вести добыть, так небось давно бы уж добыли... Мало ли у государыни верных слуг.

— Ну, вот без вестей о батюшке все мы голову потеряли. Матушка по целым дням все молится да плачет, дядя Иван Никитич тоже такой хмурый, нахохленный сидит, что к нему и подступу нет. На свою скорбь в руке да

в ноге жалуется. Вот я один-то и сам себе места не найду, и невольно дурное в голову лезет.

— Э-эх, сердечный ты мой! Как же ты хочешь, чтобы все по нашей воле на белом свете творилось нам в угоду? Ты еще роптать на Господа не вздумай... А скука-то твоя тот же ропот! А изволь-ка ты припомнить, от каких бед и зол всех вас Господь избавил? Припомни-ка Ростов-то! Ведь словно из самой пасти львиной все вы спаслись, и у батюшки твоего волос с головы не упал...

— Да, я это помню... А и того боюсь, что злых-то людей нынче уж очень много развелось...

— И над злыми, и над добрыми тот же Бог, голубчик мой! Чему не бывать, то и не станется без его воли. А смерть свою мы все за плечами носим, значит, ее и бояться нечего. Вот Скопин, князь Михайло, младостью цвел, славою возвеличен был, превыше царя Василия почтен и превознесен... Смерть ни на что не посмотрела... А батюшке твоему страданья на долю выпали, за то Бог долгим веком его наградит.

— Вот как ты, Сенюшка, всегда меня разговаривать умеешь! — ласкаясь к пестуну, сказал Мишенька. — Вот я с тобой поговорил — и на душе легче стало... И безвестье не так меня пугает...

— Да и чего пугаться-то, милый? Иногда безвестие многих вестей лучше бывает.

Так разговаривая, старый пестун подходил со своим юным питомцем к крыльцу хором, и Мишенька стал уже подниматься на ступеньки крыльца, когда, оглянувшись, увидел странника в темной скуфье и рясе, с посохом в руках, вступавшего в сад через калитку палисадничка. Густые седые волосы ниспадали волною на его плечи, а серебристая борода покрывала своими спутанными прядями всю его грудь.

— Сенюшка, смотри-ка, странник к нам идет! Пойди-ка к нему навстречу, зови его сюда на отдых. Авось он нам расскажет о странствиях своих, о дальних обителях!

И Мишенька приостановился на крыльце, следя за Сенюшкой, который и точно направился к страннику навстречу, и подошел уж близехонько, да вдруг как вскрикнет, и кол-

пак с головы долой, и сам бухнул страннику в ноги.

— Господин наш! Господин честной! — кричал он во весь голос, прижимая к устам своим загорелую руку странника.

XIII

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ

Мишенька, не давая себе отчета в том, что он делает, мигом сбежал с крыльца и бросился навстречу величавому старцу с криком и слезами.

— Батюшка! Батюшка мой дорогой! — и повис на шее Филарета, который крепко сжал его в своих объятиях, сам трепеща от волнения. Он и не чувствовал, как крупные горячие слезы катились из глаз его по бороде и падали на лицо и на грудь Мишеньки.

Отец и сын еще не успели выпустить друг друга из объятий, как Сенька уже разнес радостную весть о возвращении Филарета Никитича по всему дому и всюду произвел необычайный переполох. Марфа Ивановна и брат Иван Никитич бросились из хором в сад,

а все домашние и вся челядь со всех концов двора и дома устремились к крыльцу. Все спешили, бежали, толкались с радостными лицами и радостными криками, с веселым шумом и топотом... И все остановились в умилении при виде тех слез радости, которые лились из глаз Филарета Никитича, заключившего в свои объятия все, что было для него дорогого и милого на земле, все, с чем он был разлучен почти три года...

Когда, наконец, слезы иссякли и восторги стихли, когда он вдоволь насладился ласкою родных, он обратил свой радостный и приветливый взор на всех домашних и челядинцев и поблагодарил за верную службу, всех допустил к руке своей и каждому нашел возможность сказать словечко, западавшее в душу, памятное на всю жизнь, и каждого благословил.

Затем, когда Марфа Ивановна и Иван Никитич стали его просить войти поскорее в хоромы, а Мишенька все еще не мог выпустить его руку, Филарет Никитич поднялся на несколько ступеней крылечка и, остановившись, сказал:

— Постойте, еще успеем войти под родимый кров... Но от «избытка сердца уста хотят глаголать», и я должен всем вам и этим добрым людям, которые в отсутствии моем служили вам верою и правдою и оберегали вас от бед и напастей, всем им я должен сказать о том, что вынес за эти годы, и всех их подготовить к тому, что нам придется вынести и выстрадать за Русь, если Господь не смилуется над нами.

В его словах, в его голосе, в том глубоко опечаленном взоре, который он устремил на окружающих, было что-то чрезвычайно привлекательное, приковывавшее к нему сердца и взоры, и все как бы замерли в ожидании того, что он будет говорить.

— Почти три года тому назад, — так начал Филарет, — я был оторван по воле Божией от семьи, от родных и близких мне людей... Я готовился к смерти и не боялся принять ее от руки лютых злодеев, обильно проливавших кровь вокруг меня. Но и среди потоков крови их рука не коснулась меня... Я был взят в плен и, опозоренный, лишенный облачений и внешних знаков сана моего, был уведен к ту-

шинскому обманщику, был ему представлен в числе других полоняников из бояр и знати... Он отличил меня от всех, он постарался привлечь меня и лаской, и почетом, и саном патриарха... В душе моей к нему кипела злоба и презрение, хотелось обличить его и уничтожить, но разум воздержал мои порывы... Я увидел, что никто и не считает его не чем иным, как наглым обманщиком, никто не видит в нем царя Дмитрия или сына Иоаннова, а все служат, все угождают, все унижаются из одной корысти, все поклоняются ему, как тельцу золотому, из выгод мирских... Не только злые вороги, литва или поляки, но и бояре московские, и родовитые дворяне, и сановники все променяли на золото, забыв и Бога, и отчизну, и честь, и совесть... Тогда решил я все претерпеть и все снести, лишь бы душу свою сохранить чисту, лишь бы остатком сил своих хоть сколько-нибудь послужить на пользу Руси православной... И все, что были кругом меня, поняли тотчас же, что я им не друг, не слуга я их лжецарю и их неправде. Все стали обегать меня и опасаться, все стали зорко следить за мною и держать меня в такой неволе,

какой и пленники у них не знали. Я никуда не смел один идти, не смел и в келье своей оставаться с собою наедине, не смел писать ни близким, ни родным. Но и эти угнетения, и эта неволя не поколебали меня, как не соблазнили предложенные мне почести и слава: я пребыл верен в душе и царю, которому присягал, и Богу, Которому открыта моя совесть, и дорогой земле родной, которой я молю у Бога пощады и спасения...

Он смолк на мгновение, подавленный волнением, охватившим его душу, и затем продолжал:

— Тушинский царь бежал. Тушино сторело на глазах моих... Сильное числом и злобою скопище воров и изменников рассеялось... Погибли и многие сильные вожди их, и вот по воле Божией я свободен, я вновь в Москве и среди вас, я вновь могу служить моей отчизне на пользу... Но я не радуюсь, и дух мой не оживлю надеждой! Куда ни оглянусь, повсюду вижу измену, вражду, корысть и шатость... Тушинский вор в Калуге, и около него изменники и воры, польский король под стенами Смоленска, и у него в стане русские из-

менники и воры, которые зовут его идти сюда, на пагубу Русской земли, избранный нами царь Василий здесь в Москве, и около него измена, смута, тайные враги, предатели, готовые его продать... О, много-много еще, верьте мне, должно страдать нам, многое еще перенести и к краю гибели прийти, чтобы спастись от лютого врага, который в нас вселился, нам сердце гложет, нас побуждает на зло и на измену! Вот я и молю вас, братья и друзья, готовьтесь к бедам, готовьтесь страдать, готовьтесь биться с врагами, не успокаивайте духа своего, не усыпляйте его надеждами на лучшее... Грозные тучи идут на нас, полные громов и бурь! Мужайтесь и твердо стойте и молитесь Богу, чтобы Он вас научил любить отчизну и веру отцов превыше всех благ, всего достатка и счастья земного! Только этим и спасетесь, только этим и утешитесь!

Он не мог более говорить, слезы душили его, голос слабел и прерывался, руки дрожали. Марфа Ивановна и Иван Никитич взяли его бережно под руки и повели с крыльца в хоромы... А все домашние и челядинцы, слушавшие его с напряженным и почтительным

вниманием, долго еще стояли вокруг крыльца, пораженные его речью, оставившей в душе их глубокое, сильное впечатление...

XIV

НОВЫЕ ТРЕВОГИ, НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ

Это свидание с отцом после долгой разлуки произвело на Мишеньку чрезвычайно сильное впечатление. В течение тех немногих дней, которые Филарет Никитич позволял себе провести под домашним кровом, Мишенька не отходил от него ни на шаг, не сводил глаз, не проронил ни одного его слова. Он теперь сильнее и глубже, чем когда-либо, проникся глубочайшим уважением к отцу-страдальцу, готовому и способному все вынести ради блага отчизны, готовому умереть за Русскую землю и за веру отцов... И когда Филарет через несколько дней переселился в одну из келий Чудова монастыря поближе к патриарху Гермогену, Мишенька каждый день отпрашивался у Марфы Ивановны и ездил навещать отца своего и с величайшим наслажде-

нием проводил у него два-три часа, если ничто не отвлекало Филарета от беседы с сыном. Еще полный этою беседой, Михаил Федорович уезжал от отца и на пути делился содержанием беседы с своим пестуном.

— Ах, Сенюшка, как хорошо, как сладко было сегодня батюшкины речи слушать, кабы ты знал и ведал!.. Он ведь теперь со мною, как с большим, говорит... И все мне объясняет, все рассказывает, откуда пошла Русская земля, и с коих пор в ней цари завелись, и какие цари были... А вот сегодня рассказал мне, как смута на Руси зачалась и как измена на Руси разделила всех, как брат на брата пошел, и вот за это-то самое на Московское государство пришли воры и иноплеменники...

— Ну, а как батюшка твой говорит, скоро ли той смуте конец будет? — допрашивал Сенька, гарцуя около своего питомца на чалом мерине с романовской конюшни.

— Батюшка говорил, не скоро смута та окончится, и даже сказывал сегодня, что царю Василию с ней не справиться, что был у него добрый вождь, покойный князь Михайло Скопин, да Бог его прибрал по грехам на-

шим, и что теперь всего худого надо ждать.

— Уж чего же ждать хорошего, как лютые вороги отовсюду на нас идут?.. И поляки с Жолкевским наступают, и тушинцы с казаками лезут, и в Москве все друг на друга волками смотрят... Чего тут ждать, кроме слез да горя?

И по возвращении домой те же беседы с отцом служили для Мишеньки любимую темою разговоров и рассуждений и с матерью, и с дядей Иваном Никитичем; в голове юного отрока мало-помалу начинало складываться представление о тяжелом современном положении Московского государства, об опасностях, которые ему угрожают, об обязанности всех честных русских людей соединиться неразрывно и до конца стоять в борьбе с изменниками и иноплеменниками, дерзко вторгнувшимися в русскую жизнь.

— Если бы все русские люди так же твердо стали отстаивать веру и правду, как иноки Троицкой обители, давно уже ни одного врага не было бы в наших пределах! — не раз говаривал Филарет своему сыну, и слово это глубоко запало в душу отрока.

Так прошел почти месяц со времени избавления Филарета Никитича из тушинского плена, и свидания отца с сыном были каждодневными. Был однажды опечален Мишенька, приехал к отцу в обитель и не застал его в келье.

— Владыка митрополит вместе с господином патриархом с утра в думе боярской заседают, и когда изволят быть обратно, неведомо! — отвечал служка Филарета Никитича на вопрос сына об отце.

Мишенька удалился домой опечаленный и на другой день точно так же не мог добиться свидания с отцом, который находился на совещании у патриарха. На третий день он наконец дождался отца, хотя и на самый краткий миг. Но Филарет Никитич принял сына озабоченный и сумрачный, обняв и поцеловав его, он даже не посадил его около себя, как бывало обычно, и сказал ему:

— Дружок! Не ездь ко мне до тех пор, пока я сам тебе не разрешу. Великие грозят нам бедствия, великих должны мы ждать в самой Москве смут и волнений... Я опасаясь за тебя и потому прошу: не ездь... Даже из подворья

не выезжай. Как удосужусь, сам к вам приеду. — На том он благословил сына и расстался с ним.

И Михаил Федорович на обратном пути домой, быть может, под впечатлением слов отца своего, обратил впервые внимание на то, что происходило на площадях, на улицах и на крестцах, которыми он проезжал. Ему показалось, что никогда еще он не видал в городе такого оживления, таких густых толп народа, таких говорливых и шумных сборищ около Лобного места и на спуске к Москве-реке, около Покровского собора... Он обратил на это внимание своего постоянного спутника, Сеньки, и тот, наклонившись к нему, пояснил:

— Слышал я в обители, от служки твоего батюшки, что вести дурные из войска получены... Разбиты будто полки ляхами и войско наше все врозь разбежалось...

— А под чьим началом было? — спросил Мишенька с большим оживлением.

— Под воеводством князя Дмитрия Шуйского, родного брата государева. Он первый и бежал, и весть привез о поражении...

— Как ему не грех и как ему не стыдно!

Ему бы надо умереть на поле битвы, вот как тогда ростовский воевода.

— Не таков Дмитрий Шуйский... Он до всякой сласти житейской падох, смерти он пуще огня боится.

Приехав домой, Мишенька узнал от дяди Ивана Никитича о поражении русской рати под Клушином и о полном торжестве гетмана Жолкевского над неспособным и немужественным Дмитрием Шуйским. Оказывается, что вся Москва уже была полна толпами беглецов с поля несчастной битвы и что они повсюду расславили о корысти и неправосудии русских воевод и о чрезвычайном мужестве и воинском искусстве ляхов, которым будто бы и противиться в открытом поле нельзя...

— И уж Жолкевский на пути к столице, — добавил Иван Никитич, — а у нас и войска нет, чтобы выступить против него, и скоро ли еще сберем его, не знаем сами, а от Калуги вор тушинский подступает, и с тем нет сил бороться. Столица в страхе и тревоге. Все мечутся, все ропщут на царя Василия, и чем все это кончится, один Бог ведает.

Такие тревожные вести, доносившиеся

отовсюду на романовское подворье, конечно, всех волновали в доме, начиная от Марфы Ивановны и Ивана Никитича и до последнего челядинца. Все ожидали ежечасно наступления каких-то чрезвычайных событий, какого-то переворота, сопряженного со всякими бедами и напастями. Тревога старших передавалась и младшему члену семьи, Михаилу Федоровичу, который, просыпаясь, обращался к пестуну своему с вопросом:

— Что, Сенюшка, ничего еще на Москве не приключилось?

И слышал на этот вопрос все тот же ответ невозмутимого Сеньки:

— Милостью Божией, стоит все на Москве по-старому, по-бывалому.

И ложился Мишенька и засыпал к вечеру все с тем же тревожным вопросом:

— А как ты думаешь, Сенюшка, никакой до завтра напасти над Москвой не стряется?

— То единому Богу ведомо, голубчик, мы все под Его волею ходим, — неизменно отвечал и на этот вопрос пестун Мишеньки.

Блуждая таким образом в потемках всяких

неопределенных ожиданий, страхов и опасений, Мишенька был чрезвычайно обрадован, когда, наконец, дней пять спустя после свидания с отцом, услышал, что вечером в этот день Филарет Никитич собирается посетить свою семью на подворье. Мишенька со страстным нетерпением ожидал отца и жаждал услышать от него то живое слово, которое бы облегчило его душу, осветило бы охвативший ее сумрак... И он не ошибся в ожиданиях.

Филарет Никитич явился на подворье уже тогда, когда стемнело и все собирались ужинать. Он прошел прямо в моленную Марфы Ивановны и призвал туда супругу свою и сына.

— Хочу перед вами, дорогими и милыми моему сердцу, открыть то, что совершается теперь на Москве, чтобы вы знали, как вам жить в нынешнее трудное время, как поступать и чьей стороны держаться в грядущих превратностях и смутах.

Он вздохнул, печально оглянул всех и сказал:

— Идем к недоброму и сами налагаем путы на себя... Дни царя Василия сочтены, не сего-

дня-завтра его понудят сойти с престола, песня его спета. Он погневаается, погрозит, быть может, поупорствует, но удержаться на престоле он не сможет.

— Кто ж будет царствовать тогда? — оживленно и быстро спросил Михаил Федорович, не спускавший глаз с отца, боявшийся пророчить хотя бы одно его слово.

Филарет обратил глубокий и пронизательный взгляд на сына и сказал ему:

— Есть между бояр московских роды и подревлее Шуйских, и к царскому корени поближе Годуновых, но из них теперь не выберут царя. Все завистью и злобою заражены, все точат друг на друга нож и, чтобы не избрать единого от среды своей, решаются на страшное дело... На страшную измену земле своей!

Он смолк на мгновенье, и никто не смел обратиться к нему за разъяснением его загадочной речи.

— Вместо того чтобы всем сплотиться, всем заедино стать около своего избранного всею землею православного царя, бояре говорят себе: «Не нам, так пусть же никому престол не достается!» — и собираются тянуть за

руку тех изменников, бояр тушинских, которые решились искать московского царя в Польщизне!

— Как? Не православного и не русского государя хотят посадить на престол московский? — невольно сорвалось с уст Марфы Ивановны.

— Да, не православного и не русского, королевича Владислава! — сказал с горькою улыбкою Филарет. — Так порешили бояре на тайном совещании вчерашнем, и как ни возражал, как ни громил их патриарх укорами и всякою грозой, как ни пытался я доказывать, что ляхи лютейшие наши враги, что доверяться королю ни в чем нельзя, бояре, нас не слушая, решились вступить с Жолкевским в переговоры о королевиче, как только царь Василий покинет престол.

— Слыханное ли дело, чтобы на московском престоле да не православный, не русский царь был! — прошептала Марфа Иванова.

— О! Мы к тому идем, чего никогда не видано, не слыхано при наших предках было! — воскликнул с неудержимым волнением Фи-

ларет. — Видно, что еще мало страдали мы, мало терзали Русь раздорами и смутами! Чтоб образумиться, мы должны дойти до края гибели и претерпеть неслыханное, тогда лишь в разум войдем.

— Батюшка! — смело вступился вдруг Михаил Федорович. — Да зачем же нам иноземному и неверному королевичу покоряться? Не надо присягать ему.

Филарет печально покачал головою и сказал, положа руку на плечо сына:

— Ты судишь, как отрок, горячо и неразумно! Если Бог попустит быть такому греху, кто же дерзнет Ему противиться? Он знает, куда ведет нас... Нет! Все присягнут, присягнуть обязаны будете и вы и верно соблюдать присягу, если сами ляхи в ней пребудут верны. Но не предавайтесь сердцем иноземцу, не ищите от него ни милостей, ни благ земных и ни на миг из памяти не выпускайте, что за веру отцов своих и за землю Русскую вы должны пролить последнюю каплю крови... Кто бы ни царствовал, кто бы ни правил на Москве, пребудьте верны ему, пока он нашей веры не коснется, пока не вздумает рвать на

части землю Русскую. Помните, что верою со-
здалось великое государство Московское, ве-
рою держалось, пока мы Бога помнили, верою
и спасется!

При этих словах Филарет поднялся с места
и стал прощаться со своими. Но когда поло-
жил руку на голову Михаила Федоровича,
благословил его, тот вдруг разрыдался, упал
на колени и, простирая руки к образу Спаси-
теля, заговорил прерывающимся от волнения
голосом:

— Батюшка! Пусть меня мучат, пусть ли-
шают хлеба, пусть держат в темнице, не из-
меню я вере православной, не поддамся ино-
верцам! А вырасту, так буду с ними биться до
последней капли крови за веру нашу и за зем-
лю Русскую!

Филарет обнял сына крепко-крепко и по-
целовал его в лоб.

— Успокойся, сын мой! Бог укажет тебе пу-
ти, которыми тебе придется идти, когда ты
подрастешь и в разум войдешь! Укажет, если
ты сохранишь Его в чистом сердце твоём.

И, опасаясь выдать собственное волнение,
Филарет поспешил удалиться и плакал даже

тогда, когда лег в постель и утонул лицом в свое изголовье. И эти слезы просветили сознание и рассеяли неопределенный сумрак, тяготивший его душу.

XV

ПЕРЕД НОВОЙ БЕДОЙ

— Вот батюшка-то твой, Филарет-то Никитич, — говорил однажды своему питомцу Сенька, — ведь ровно пророк! Месяца не прошло, как уж все сбылось, что он предсказывал. И царя Василия на престоле как не бывало, в монахи с супругою своею пострижен... И с ляхами мы в дружбу вступили, и королевича их в цари к себе зовем! Господи, Боже мой! Назавтра уж и присягу ему отбирать от всех станут... И тебе, Мишенька, тоже, как стольнику, присягать небось придется?

— Придется, — с видимым неудовольствием сказал Мишенька, опуская очи в землю.

— Да как же это? Я, право, и в толк не возьму. Иноверный королевич, по вере католик, да на московский престол воссядет? Как его, неблаговерного, и в церквах-то за службой

поминать станут?

— Батюшка сказывал, — заметил Михаил Федорович, — что патриарх и бояре запись взяли с гетмана и с короля будто бы ее возьмут, тому королевичу в православную нашу веру перейти.

— Запись, запись! — проворчал про себя Сенька. — Что запись — бумага писаная! Бумагу подрал — и записи нет... Что стоит королю ту запись уничтожить? Да еще и даст ли на нее согласие? Вон он каков, лукавый: переговоры о королевиче с Москвой ведет и сына на московский престол сажать собирается, а наш коренной русский город Смоленск из пушек громит да под свою державу норовит привести... Кто польской затее поверит, тот наверно за это и поплатится.

— А как же бояре-то да и сам патриарх, неужели допустят такой обман? — с неуверенностью спросил Михаил Федорович.

— Допустят ли, нет ли, кто ж это знает? А только что крови еще много прольется, прежде чем все уладится, — с каким-то мрачным отчаянием проговорил Сенька.

Мишенька взглянул на него с некоторою

укоризною и, положив руку на плечо ему, проговорил ласково:

— А помнишь, как, бывало, ты утешал меня? Как ты говаривал: никто, как Бог, и что без воли Божией ничто не станется... А теперь и ты Бога позабыл?

— Эх, Мишенька! — еще мрачнее проговорил Сенька, покачивая головою. — Такие времена переживаем, что кажется, будто нас Бог забыл, отвернулся от нас, грешных, отдал нас вору да ляхам на посмеяние и на потеху!

Он безнадежно махнул рукою и замолк, как бы опасаясь высказать перед питомцем свои затаенные мысли и вскрыть перед ним все, что у него накипело на душе.

Мишенька грустно посмотрел на него, и сердце его сжалось невыносимую тоской при мысли, что ему завтра придется присягать в подданнической верности королевичу Владиславу, избранному боярами царю московскому.

Мишеньке и в голову не приходило, что под одним кровом с ним билось другое сердце, еще гораздо более терзавшееся тоскою и тяжелыми предчувствиями, хотя и тщатель-

но скрывааемыми. То было сердце матери, Марфы Ивановны.

Сосредоточенная, исключительно посвятившая себя заботам о доме и воспитании сына, Марфа Ивановна делила свое время между этими заботами и молитвою. В последнее время, когда события так быстро следовали одно за другим, когда каждый день приносил с собою какие-нибудь прискорбные новости и события, никогда прежде не виданные и не слыханные, Марфа Ивановна чувствовала себя совершенно подавленной тяжким гнетом ожиданий какой-то страшной, надвигающейся, неотразимой опасности, грозившей поглотить все, что у ней было дорогого в жизни, все, что она уже так много лет сряду старалась оградить от всяких бед. Такие же тягостные предчувствия тревожили ее только в то время, когда она жила в Ростове накануне страшного ростовского погрома и долгой разлуки с Филаретом Никитичем. Сердце-вещун нашептывало, что и теперь ей придется испытать новые горести, вынести чрезвычайные опасения, пережить новые тревоги и ужасы, но она не дерзала никому высказать

эти предчувствия, не дерзала сознаться в своей слабости. Филарет Никитич не стал бы ее слушать и, вероятно, остановил бы ее на первых словах строгим выговором.

— В Бога верить надо, а не в ваши бабьи сны, приметы да бредни! — говаривал он не раз, когда она жаловалась ему на тревожившие ее думы о будущем.

С деверем своим, Иваном Никитичем, она не любила говорить об этих тревогах потому, что он тотчас поднимал ее на смех и начинал доказывать, что все должно вскоре уладиться и устроиться к общему благополучию. С тех пор как вся Москва присягнула Владиславу, а гетман Жолкевский оттеснил тушинцев от Москвы, Иван Никитич сильно обнадежился, даже вовсе перестал поляков опасаться и держал сторону тех бояр, которые предлагали гетману Жолкевскому занять Москву сильным отрядом войска.

— Худшее, матушка Марфа Ивановна, теперь уж пережито нами! Уж миновало! — говаривал он ей в утеху. — Будем лучшего ждать, а не сокрушаться по-пустому.

Особенно опасалась Марфа Ивановна заго-

варивать о своих опасениях при сыне, который, как она могла заметить, был в последнее время очень тревожно настроен, чутко прислушивался к каждому звуку, к каждому слову.

И только со стороны одного человека она видела себе полное сочувствие: только с одним Сенькой могла она говорить свободно и без стеснений. Тот вполне разделял ее опасения, настаивал на том, что, как только польские дружины вступят в Москву, Марфе Ивановне с сыном вместе немедля следует ехать в костромские романовские вотчины, и повторял ей постоянно в подтверждение своего взгляда:

— Москва, матушка государыня, не Ростову чета! Коли тут каша заварится, из нее цел не уйдешь. Тут, что в решете: дыр-то и много, а вылезть некуда!

Но когда Марфа Ивановна дерзнула однажды намекнуть Филарету Никитичу о том, что недурно было бы ей с Мишенькой уехать, тот так сурово осадил ее, что заговаривать об этом она больше уж не решалась.

И вот, по целым часам запираясь в своей

моленной, она только перед Богом решалась открыть свою душу, прося у него наставления и помощи.

А между тем Москва в ту пору действительно переживала такое время, что даже странно было тревожиться какими-нибудь опасениями. Все граждане московские во всех слоях общества охотно присягали Владиславу, видя в этом избрании конечный исход всяких бедствий и полную возможность избежать кровопролитной войны и нескончаемой службы, которая уже всем приелась до тошноты... Вслед за присягою и подписанием договора бояр с Жолкевским последовали пиры и празднества, то в польском стане, то в Москве в боярских домах, толпы народа каждый день ходили в польский стан с харчами, с мелким торгом, с предложением всяких услуг, и поляки бродили по Москве, закупаая себе в рядах все необходимое, запасаясь хлебом и свежим мясом, сбывая всякое добро, доставшееся в добычу после Клушинской битвы. И все шло так дружно, так плавно, так согласно...

Тем более была удивлена Марфа Ивановна,

когда после одного из заседаний боярской думы Иван Никитич, вернувшись домой, прошел прямо к ней на половину и, притворя за собою дверь, сказал ей с несколько встревоженным и таинственным видом:

— Сестрица! Братец, Филарет Никитич, приказал тебе сказать, чтоб нынче ночью, после того как Мишенька и все на подворье улягутся, ты приказала бы Сеньке посторожить у задней садовой калитки. Он сам приедет к нам на тайное совещание...

— О чем? Не сказывал ли хоть тебе? — взмолилась было Марфа Ивановна.

— Не сказывал! — отвечал деверь, мотая головою. — Но только одно скажу, давно уж я его не видел таким тревожным, как сегодня...

«Ну, видно, недаром так томили меня все эти дни злые, черные думы!» — подумала Марфа Ивановна, и сердце ее вновь защемило невыносимую тоскою.

С великим трудом дождалась она вечера, день показался ей просто нескончаемым... Под первым попавшимся предлогом она уговорила Мишеньку пораньше лечь спать, решив ему давно желанную поездку в Чудов

к заутрене, затем сама стала наблюдать, как мало-помалу засыпал весь дом, как гасли огни в разных углах обширного подворья и тишина постепенно водворялась всюду. Было около полуночи, когда погас последний огонь, и Марфа Ивановна, накинув на плечи темную телогрею, вышла из хором на рундук садового крыльца.

Вечер был свежий, сентябрьский, но луна была в полном блеске, и темное безоблачное небо так и горело мириадами звезд... Марфа Ивановна присела на крылечке и стала прислушиваться.

Ждать ей пришлось недолго. Ровно в полночь топот копыт раздался по переулку под высоким садовым тыном, калитка скрипнула, и Филарет Никитич вступил в сад в сопровождении Сеньки, который почтительно остановился у калитки.

— Ждала? Тревожилась? — заботливо и ласково спросил Филарет, благословляя Марфу Ивановну.

Она не отвечала ни слова, только низко опустила голову.

— И есть о чем тревожиться! — многозна-

чительно сказал Филарет, переступая порог хором.

Минуту спустя оба брата и Марфа Ивановна по-прежнему сидели в той же моленной.

— Все это время, — так начал Филарет, — я стоял у кормила, я близко и зорко наблюдал, куда государственный корабль направляется... И вижу, что кормчие все потеряли голову, что корабль несет в пучину и никто не в силах его спасти от гибели! Измена и коварство торжествуют и точат нож на нас, никто не смеет им перечить и становиться поперек дороги. Меня, я знаю это наверно, скоро здесь не будет.

— Тебя не будет? На кого же ты нас покинешь? — воскликнула Марфа Ивановна, всплеснув руками.

— Я пришел вам обоим дать мой последний завет на всякий случай.

— Последний? — промолвила Марфа Ивановна.

— Да, потому не знаю, что ждет нас на той службе, в которую нас посылают теперь: смерть ли, полон ли, страданье ли? А шлют нас почетными послами на рубеж к Смолен-

ску для утверждения переговорной грамоты с королем Сигизмундом и королевичем Владиславом. «Почетными» — тут только слово одно, а избраны в послы те люди, которые здесь могли бы связать руки и полякам, и русским изменникам... Но у коварного Жолкевского есть и другой расчет: он выпросил в почетное посольство назначить тех, которые по роду своему и близости к престолу могли бы сами на него быть избраны или детей своих на нем увидеть... Он знает, что таких родов осталось только три: Милославский, Голицынский и Романовский!.. Но Милославский стар уже и бездетен, а у меня и у Голицына есть сыновья... Понятно ли теперь, о чем я с вами говорить приехал, какой вам от меня останется завет?

И Марфа Ивановна, и Иван Никитич смотрели прямо в глаза Филарету Никитичу, не смея слова проронить, не смея угадать его мысль и ожидая, что он сам ее выскажет.

— Мой завет вам: блюсти сына моего Михаила как зеницу ока! Не прятать его, не хоронить от всяких возможных бед и напастей, не увозить покуда из Москвы, но здесь блюсти,

блюсти в нем, быть может, надежду всей земли Русской... Пути Божий неисповедимы, и в нынешние смутные времена кто знает, кто может знать свою судьбу! И кто смеет уклониться от перста Божия, если он укажет Своего избранника!

— Как? Ты решился бы, чтобы дорогое наше детище попало в этот водоворот... В этот омут? — простонала Марфа Ивановна.

— Неразумны твои слова, жена! — сурово заметил Филарет. — Сегодня водоворот и омут, а завтра, как минет Божия гроза, так омут обратится в светлый, чистый и прозрачный источник, всех напоивший своею сладкою струей... Да! Мой завет такой: блюдите Михаила, но не уклоняйте его от перста Божия! Бог лучше нас знает, куда его ведет... Не нам становиться преградою на пути Его... Клянитесь же исполнить мой завет, чтобы я мог спокойно править службу земле моей, спокойно умереть, если так судил Бог!

— Клянемся! — проговорили разом и Марфа Ивановна, и Иван Никитич, поднимая руки.

— Ну, теперь я смело могу идти хоть на

край света белого!.. Я готов на подвиг и других сумею укрепить к такой же готовности, и знаю, что как ни спешит коварный лях, не одолеют злоба и измена!

Глаза его горели ярким пламенем, когда, говоря это, он поднялся с места и стал молиться на иконы и благословлять своих близких.

— И надолго ты нас покинешь? — решила было спросить Марфа Ивановна.

— Не искушай этим вопросом ни меня, ни Бога! Кто знает, даже и выезжая на ловы, на потеху подгороднюю, вернется ли он домой и когда вернется?

Он еще раз благословил жену и брата одним общим крестом, отступая к порогу моленной, и знаком показал им, что он не желает от них проводов. Они остались в хоромах, а он быстро прошел на садовое крыльцо, быстро спустился с него и скрылся за поворотом дорожки. Минуту спустя топот двух коней, раздавшийся в переулке, возвестил об отъезде Филарета.

XVI

ЕЩЕ РАЗЛУКА

11 сентября 1610 года день просиял поутру ярким, почти летним солнцем.

Чуть солнышко встало, уж Сенька поднял Мишеньку с постели напоминанием, что на сегодня после ранней обедни и напутственного молебна в Успенском соборе назначен был отъезд великого московского посольства под Смоленск, к Сигизмунду.

— Коли хочешь батюшку проводить по дороге да проститься с ним у Крестов, вставай, Мишенька, скорее! — торопил Сенька своего питомца, раскладывая перед ним нарядное платье для этого торжественного выезда.

Мишенька не заставил себе повторять эти речи и поднялся так быстро, что даже и сам его пестун удивился:

— Ну, голубчик, видно, ты на дело прыток будешь! Ишь как обернул, что и мне за тобой не поспеть стало!

И он спешил подать ему умыться, спешил нарядить его в камчатный красный кафтан с

золотыми затканными цветами и разводами и подтянуть его кованым серебряным поясом с крупными гранатами, бирюзами и лалами.

Когда Мишенька покрыл свои кудрявые волосы бархатною шапочкой с собольей оторочкой, Сенька отступил от него шага на два и залюбовался им, прикрывая глаза своею старческою рукой.

— Ведь ишь ты какой молодец кучерявый вырос да выровнялся! Кто тебя года два не видел, тот, пожалуй, и не узнал бы. Вот только плечами бы пошире да грудка чтобы разда-лась чуть-чуть, тогда совсем стольник у нас настоящий будешь! Ступай к матушке, пока-жись ей, да пусть благословит тебя на прово-ды!

Мишенька направился на половину матери и вернулся через несколько минут сильно растроганный, с мокрыми от слез глазами.

— Поедем скорее, голубчик Сенюшка! Боюсь я опоздать... Боюсь, что не увижусь с ба-тюшкой-родителем.

— Поедем! Степан уж вон поприустал ко-ней-то державши.

Они оба сошли с крылечка в сад, из сада

через калитку палисадника вышли в переулок, где Степан Скобарь действительно ожидал их с двумя верховыми конями. Придерживая стремя Михаилу Федоровичу, между тем как Степан держал коня под уздцы, Сенька помог своему питомцу сесть в седло, оправил складки его кафтана, дал ему в руки сверх поводьев гремячие серебряные цепи, прикрепленные к удилам богатой наборной уздечки, а сам, быстро вскочив в седло, перекрестился и сказал:

— С Богом в путь!

Кони тронулись с места крупной рысью, которую всадники не старались сдерживать, опасаясь, что не доедут вовремя. Как только они поднялись к Покровскому собору и завернули на площадь, так увидели, что несмотря на раннюю пору вся Красная площадь была залита толпами народа, терпеливо выжидавшего той поры, когда громадный и торжественный поезд великого посольства двинется из кремлевских ворот и направится на Смоленскую дорогу.

С трудом пробрались наши всадники через эти толпы, переехали через подъемный

мост на кремлевском рву и выехали воротами в Кремль. Здесь опять бросились им в глаза толпы людей около здания приказов напротив решетки соборов, около которой длинной вереницей в три ряда поставлены были шесть карет и колясок для главных послов и их икон, далее целый обоз повозок для дворян и выборных людей, другой обоз всякого скарба и дорожных запасов и более трехсот верховых коней, на которых посажена была посольская почетная стража из стрельцов и казаков.

— Матушки мои! — слышались в толпе голоса. — Да неужто это все для посольства приготовлено?.. Ведь это же посмотреть-то страсть!

— А ты небось думаешь, тетка, что они к тебе гостить едут? Собрались в путь не на один месяц, а то и на целый год... И собралось-то их ни много ни мало — тысяча двести сорок шесть человек. Так тут надобно запасу!

— Собралось-то много, да много ли вернется? — мрачно заметил кто-то со стороны, и это замечание словно ножом кольнуло Мишеньку в сердце.

Но тут они подъехали к воротам, сдали коней своему конюху, следовавшему за ними поодаль, и, обменявшись поклонами со жилицкою стражею, охранявшею ворота, вступили в толпу гостей, дворян и всяких выборных людей, наполнявшую дворцовый двор между соборами. Не обращая внимания на эту жужжавшую толпу, которая явилась проводить своих родственников, друзей и знакомцев, изредка кое с кем обмениваясь поклонами, Михаил Федорович поспешил обратиться в собор, в котором за решетками стояли различные чины: бояре, окольниковые, думные дворяне и дьяки, все высшие сановники и власть имущие люди. Юный стольник занял подобающее ему место между стольниками, а Сенька остался выжидать его на паперти; Мишенька был очень счастлив тем, что поспел в собор еще до начала службы и мог еще раз, последний, присутствовать при служении митрополита Филарета, своего дорогого, обожаемого отца, с другими епископами в присутствии самого патриарха Гермогена, который уже в самом начале литургии занял свое высокое патриаршее место, окруженный

многочисленным клиром.

Первый раз в жизни юный Михаил Федорович присутствовал на таком торжественном служении и не молился, не мог молиться... Он не сводил глаз с своего отца, как бы желая неизгладимо запечатлеть его дорогие черты в своем сознании и памяти, как бы сознавая, что он расстается теперь с отцом своим надолго, быть может, навсегда... И эта мысль до такой степени поглощала все его чувства, что он слышал звук голоса Филарета и слушал его с неизъяснимым наслаждением, но не мог выделить ни одного его слова, не мог расслышать ни одного возгласа... Изредка слезы, набегавшие на глаза Мишеньки, покрывали все кругом него неопределенным туманом, и тогда, не видя ничего перед собою и оставаясь на мгновение в мире звуков, ласкавших его слух и носившихся под древними сводами, Мишенька различал среди этих звуков только голос отца своего, проникавший ему прямо в душу, ободрявший его какой-то неведомой надеждой...

Когда служба окончилась и начался напутственный молебен, патриарх Гермоген сам

принял участие в служении его, между тем как все главные послы: князь Василий Голицын, Филарет Никитич, дьяк Томила Луговский и дьяк Васильев-Сыдавный стояли во главе всего сонма сановников у самого амвона на коленях.

Все ожидали, что патриарх в конце молебна скажет великим послам напутственное слово, но суровый инок, призывая их к крестоцелованию, сказал только:

— Пребудьте верны святой православной Церкви и ни на какие соблазны, ни на какие блага не променяйте общего блага всей земли Русской, да не будете прокляты в сем веке и в будущем!..

Затем, торжественным шествием, с крестами и хоругвями вынесены были из собора иконы, назначенные сопровождать послов во время пути и пребывания на чужбине... Шествие церковное, сопровождаемое густою толпою бояр и сановников в золотых кафтанах и низшими дворцовыми чинами в красных суконных однорядках, подошло к решетке соборной площадки. Здесь в две передние кареты помещены были посольские иконы, затем

в третьей карете поместился Филарет, а в остальных трех в каждой по одному послу. В последующих повозках в то же время разместились по двое, по трое и вчетвером остальные, низшие члены и участники посольства. Конная стража оцепила обширный поезд с обеих сторон. Патриарх высоко поднял чудотворный крест над головою и молча осенил им отъезжающих... Поезд заколыхался и двинулся к кремлевским воротам. Масса провожающих верхами загарцевала по обе стороны стражи, окружавшей поезд: всем хотелось еще раз проститься с отъезжающими у Крестов и пожелать им счастливого пути и успеха.

Когда поезд тронулся, приветствуемый толпами народа, который всюду обнажал головы, крестился на посольские иконы и кланялся в пояс послам, Мишенька очутился на коне около самых дверей кареты Филарета и ехал рядом с нею, не спуская глаз со своего обожаемого родителя. Но Филарет, согласно обычаю, не имел возможности обратить на него ни малейшего внимания, спокойный и сдержанный, он приветливо раскланивался

направо и налево и благословлял десницей толпу по обе стороны. Когда же посольский поезд проехал через всю Москву и остановился на выезде из города, тогда уж Филарет не мог вытерпеть: вышел из кареты и обнялся со своим сыном, с дорогим и единственным, который, сойдя с коня и громко рыдая, упал перед ним на колени.

Разлука была тягостная и до такой степени трогательная, что никто из окружающих не мог удержаться от слез.

— Батюшка! Батюшка! — лепетал юный стольник, целуя край одежды родителя и обливая слезами его руки.

— Сын мой! — сказал Филарет, с трудом сдерживая слезы и возлагая руки на голову Михаила Федоровича. — Сын мой, единственный и возлюбленный, благословляю тебя и вручаю на попечение матери твоей и дяди, которым мой завет о тебе известен и введом. Повинуйся им, как мне бы повиновался, и не выходи из их воли. Когда же вступишь в юношеский возраст и призван будешь на службу царскую, исполни долг свой, не жалея живота, не помня ни о покое своем, ни о сне, ни о

плоти. Помни только о душе и о долге, который тебе надлежит исполнить...

Он поцеловал сына и передал его на руки Сеньки, которого благословил, шепнув ему на ухо:

— Надеюсь на тебя, раб верный и преданный.

Толпа бояр и сановников, стоявшая поодаль во время прощанья отца с сыном, обступила Филарета, каждый спешил подойти под его благословение и облобызаться с ним... Сенька воспользовался этой минутой для того, чтобы отвлечь Мишеньку в сторону и уговорить его поскорее вернуться домой, где, вероятно, «матушка Марфа Ивановна о нем уж во как тревожится...».

XVII

ЗАГОВОРИЛО РЕТИВОЕ

Мишенька, разрыдавшийся и взволнованный, не перечил своему пестуну: он дал себя усадить на коня и покорно последовал за Сенькой, минуя громадный поезд, вытянувшийся почти на версту. Густая толпа народа окружила все повозки, и прощанье было всюду в полном ходу. Одни плакали и целовались, благословляя друг друга, иные угощались на прощанье, чокаясь ковшами и чарками, иные крестились и кланялись, обратясь лицом к Москве, к ее «сорок сороков» церквей.

И Михаил Федорович, и его спутник ехали молча, не обмениваясь ни единым словом. Юный стольник был подавлен впечатлением только что вынесенной разлуки с отцом, а старый пестун был занят какими-то своими тревожными думами, которые, видимо, не давали ему покоя и то вызывали на лице его горькую усмешку, то выражались каким-нибудь непроизвольным движением рук. По

временам он даже с досадой повторял про себя чуть слышно:

— Доигрались, дождались! Будем у праздника!..

Эти почти шепотом произнесенные слова, наконец, обратили на себя внимание Мишеньки. Он обернулся к Сеньке и спросил его:

— Что шепчешь? Что у тебя на уме, Сеньюшка?

— Э-эх! Голубчик, лучше не спрашивай! Вот как болит сердце...

— По батюшке? — робко и ласково спросил Мишенька, заглядывая в очи Сеньки.

— Нет, не по батюшке твоем. Он службу государскую правит: в нем Бог волен. А потому болит сердце, что ждет всех нас, москвичей, позор невиданный и несказанный!

— Что такое? Какой позор?

— Стоя на паперти, я слышал, как двое бояр промеж себя говорили: «На днях бояре, что при власти стоят, порешили польскому войску ворота ночью открыть, впустить их в город, чтобы охраняли нас от тушинцев и от русских воров». Да что же мы, бабы, что ли? Или не сумеем уж бердыша и копыя в руки

взять?

— Нет! Это что-нибудь не так! Ты недослышал, Сенюшка.

— Какое там недослышал? Прямо говорили, что патриарх и слышать об этом не хотел, так первый же твой дядюшка, Иван Никитич, против него пошел и настоял на том, чтобы впустить в Москву поляков, и порешили, что как только посольство двинется в путь, так дня три спустя бояре впустят ляхов и в Кремль, и в Белый город.

— И дядя настаивал на этом? — горячо заговорил Михаил Федорович.

— Говорили, будто громче всех в думе кричал.

— О, если так, то я с дядей поговорю... Я его спрошу!.. — запальчиво заговорил Мишенька.

— Что ты, что ты, касатик, да разве ты не знаешь, каков твой дядянька?.. Крутенок! Ты хоть меня-то не выдавай!

— Не выдам! Скажу, что в соборе слышал... Но как он может, как он решился?.. Верно, не спросясь отца?

— Отец твой заодно с патриархом стоял... А теперь, как он уедет, им всем без него во-

люшка вольная!

Михаил Федорович не сказал ни слова более, а только охлестнул коня плетью и пустил его вскачь.

Сеньке не удалось узнать и выследить, говорил ли в тот день Михаил Федорович с дядею о допущении польской рати в Москву... Не решился Сенька и питомца своего об этом разговоре допрашивать, опасаясь возбудить его против дяди-боярина, но только он заметил, что именно со дня отъезда Филаретова между юным стольником и Иваном Никитичем отношения установились холодные и натянутые. Мишенька видимо избегал всяких бесед с дядею и проводил большую часть дня с матерью своей, а когда боярин Романов при нем и при Марфе Ивановне начинал выхвалять гетмана Жолкевского и выражать доверие к полякам, Михаил Федорович поднимался молча с своего места и уходил в комнаты. Только в то утро, когда Сенька доложил Мишеньке, что польская рать ночью была впущена боярами в Москву и разместилась по-прежнему в Кремле, в Китай-городе и в Белом городе, Мишенька не вытерпел и заговорил с

дядею очень громко и резко. Дядя вскипел и набросился на племянника с укорами... Сеньке из-за двери удалось расслышать, как боярин кричал:

— Не смыслишь ничего!.. Молоко на губах не обсохло, а чужие речи повторяешь!.. Я доберусь, кто тебя наущает!..

— Никто не наущает, — резко возразил Мишенька, — своим разумом рассуждаю, что полякам в Москве не место...

— Да знаешь ли ты, что если бы гетман не согласился прислать нам польскую рать для охраны, так нам бы в Москве двух дней не прожить было? Измена отворила бы ворота тушинцам!.. Пришлось бы нам искать себе спасенья в польском стане...

— Нет! Патриарх Гермоген туда бы не пошел, и я бы с ним здесь остался.

Тут боярин так раскипятился и так стал кричать на племянника, что Марфа Ивановна должна была вступить за сына и осадить боярина.

— Коли вам не любы поляки, чего же вы в Москве сидите? — кричал разгневанный Иван Никитич. — Ехали бы в свои вотчины,

сидели бы там!

— Давно бы отсюда уехали, — твердо отвечала Марфа Ивановна. — Да сам, чай, знаешь, каков завет нам дан Филаретом Никитичем? Не смеем переступить его и останемся здесь.

В ответ на этот довод Иван Никитич крикнул что-то (чего Сенька не мог расслышать) и, поднявшись из-за стола, ушел на свою половину.

Со времени этого столкновения прошло около двух месяцев, и дядя все это время не переставал дуться на племянника: иногда по целым дням не заходил в хоромы Марфы Ивановны, иногда заходил для свидания с ней только с утра, когда Мишенька занят был грамотой в своей комнате с подьячим Посольского приказа, и потом уже не показывался целый день, даже и обедал на своей половине. Но Марфа Ивановна начинала замечать, что на лице Ивана Никитича чаще и чаще появляется какое-то недовольство, досада, иногда даже и просто озлобление, высказывавшееся в каждом слове болезненного, нервно-расстроенного боярина.

— Да что ты это, братец? Здоров ли ты, как

я погляжу на тебя? — участливо спросила его однажды Марфа Ивановна.

— Нет... Я здоров... Это я так! — уклончиво отвечал Иван Никитич и обыкновенно спешил уйти, уклоняясь от дальнейших расспросов. Но Марфа Ивановна заподозрила недоброе и стала допытываться истины у своего деверя.

— Признаться сказать, — проговорился, наконец, однажды Иван Никитич, — берет меня не на шутку тревога, что до сей поры нет писем от брата из-под Смоленска... Все ли там благополучно?.. А у нас...

— Что ж, может быть, теперь поляки тебе уж и не любви стали? — сказала на это Марфа Ивановна.

— Нет, не поляки, а наши-то сановники, что из тушинских вельмож в думе очутились: от тех-то вот житья нет! Вот, кажется, иной бы раз их всех...

Марфа Ивановна вздохнула и не расспрашивала больше.

Дней пять спустя Иван Никитич пришел к Марфе Ивановне совсем взволнованный, возмущенный до глубины души. Он держал в ру-

ке письмо, только что полученное от Филарета Никитича, и еще издали кричал:

— Вот они каковы! Вот жди от них добра, жди проку! На словах одно, а на деле совсем другое...

— О ком ты это, братец, так сердито говоришь? — спросила Марфа Ивановна, как бы не догадываясь, о ком идет речь.

— Вестимо о ком, о господах поляках! Вот прослушать изволь письмо от брата...

— От Филарета Никитича? — почти вскрикнула Марфа Ивановна, поднимаясь быстро с места.

— Изволь, изволь прослушать! — торопил ее Иван Никитич, усаживаясь, и тотчас начал читать письмо Филарета, в котором тот горько сетовал и жаловался на чрезвычайное коварство и лживость польских вельмож, на уклончивые извороты короля в переговорах, на волокиту и промедление в подписании договора, на открытое и явное нарушение некоторых его условий... «Коли так и дальше пойдет, то, даже и два года здесь пробив, ничего не добьемся, — писал Филарет. — А король тем временем громит Смоленск и губит непо-

винные души христианские... Для всех нас понятно и явно, что Московскому государству сына своего королевича Владислава в цари давать не желает, а сам замышляет воссесть на московский престол...»

— Боже ты мой! Да что же это с нами будет? Чем все это кончится? — заговорила в испуге Марфа Ивановна.

— Признаться, мы и сами не ведаем, чем все это кончится! — смущенно высказал Иван Никитич. — Читал я это письмо боярам нашим в думе — все головы повесили... Поляки и те вестями из-под Смоленска смущены! Опасаться начинают, как бы смуты какой в Москве самой не вышло... А патриарх, так тот уж во весь голос кричит, что договор нарушен, что пора призвать народ к оружию против иноплеменников.

— О, Господи! Как же мы среди всех этих бед и ужасов спасем детище мое милое?.. Если б не завет Филарета Никитича, если б он нас клятвою не связал, давно бы я Москву покинула, где мы окружены отовсюду врагами и смертными опасностями!..

— Да, теперь не знаешь, куда и голову-то

приклонить! — растерянно проговорил Иван Никитич. — В Калуге вор тушинский засел, в Поволжье казаки воровские грабят и бесчинствуют... В Орле, в Рязани, в Пронесе, в Волхове, говорят, какая-то новая завируха начинается... Ляпунов опять там бунт затеял, хочет к Москве идти...

— Ох, только уж ради Бога не говори ты об этом Мишеньке! — испуганно заговорила Марфа Ивановна. — Он в последнее время все только спит и видит, как бы ему Москву от поляков спасти! А если тут бы еще ополчение какое к Москве подходить стало, не удержать бы его... Только и твердит: хочу, мол, пострадать за Русь и за церковь православную...

— Хорошо ему это твердить по неразумию! — с досадой проговорил Иван Никитич. — А мы и во главе правления стоим, да видим, что в тупик зашли и ворохнуться не можем... Тут уж как бы свою-то голову на плечах сносить...

И он беспомощно опустил голову на грудь и задумался.

XVIII

СЛУХИ И СТРАХИ

Среди сомнений, опасений и страхов, среди самых разнообразных и зловещих слухов, доносившихся отовсюду, среди глухой борьбы и озлобления, нараставшего медленно между русскими людьми, обманутыми Сигизмундом и поляками, заброшенными им в Москву и предоставленными на произвол судьбы, жизнь текла тяжело, мрачно и вяло. И на романовском подворье, как и во всей Москве, никто уже не загадывал на недели, на месяцы, а все держали свое лучшее добро в скопе, в узлах, наготове, и, ложась с вечера спать, говорили с полным сознанием:

— Вот коли Бог даст дожить до завтрашнего дня...

В воздухе пахло грозой, встречные люди начинали на улицах посматривать друг на друга волками. Даже самые мирные граждане покупали себе на последние гроши добрый нож-засапожник на базаре и клали на ночь топор под изголовье, приговаривая:

— А кто его знает? Не ровен час, може, и топор пригодится?

Так прошло еще три месяца, наступил и Великий пост, перевалил и за Средокрестную неделю, а сумрак над Москвою все больше сгущался... Что ни день, то на подворье доносились вести одна другой хуже, одна другой грознее, и каждая из них задевала за живое, заставляла трепетать от негодования сердца прямых русских людей...

— Скоро, матушка, нечем будет и дров нарубить для топки! — говорил однажды Сенька Марфе Ивановне. — Польские начальники нонче ходили по рядам, везде у купцов топоры из лавок и ножи отбирали...

— Сегодня у заставы поляки обоз с дровами остановили и не пустили в город, — докладывал Степан Скобарь.

— Это, говорят, вы не дрова, а салопы для московских мужиков везете...

Затем пошли слухи о перехватывании писем, обнаруживших тайные сношения московских граждан с южными городами, кто-то принес весть о заключении князя Андрея Голицына под стражу. Наконец Иван Никитич,

смущенный и растерянный, приехал однажды из заседания думы, сообщил Марфе Ивановне, что с разрешения думы поляки заключили государя-патриарха под стражу...

— С разрешения думы?! — воскликнула Марфа Ивановна. — Да в уме ли вы? Да как дерзнули на него и руку-то поднять?

— Поляки жаловались нам, что он мутит против них все государство, прямо в соборе проповедует, чтобы все шли к Москве с оружием, на избавление столицы первопрестольной от иноплеменников... И патриарх не отрицал: прямо говорил, что он от тех проповедей не уймется...

— И вы не поддержали его? Вы его выдали врагам? — воскликнула возмущенная до глубины души Марфа Ивановна.

— Что же нам делать! Мы присягали королевичу... Да притом ведь мы в руках у них... Ведь мы...

— О, горе той земле, в которой на таких шатких столпах все здание государственное зиждется! Ответите вы за слабость свою перед Богом, и отомстится она вам жестоко — из рода в род!

Иван Никитич зажал уши и поспешил удалиться из комнаты Марфы Ивановны, не зная, что и ответить ей на укоры, не зная, чем оправдать непростительную слабость свою и товарищей думцев.

Особенно тревожно провела Марфа Ивановна канун Вербного воскресенья. В этот день к ней с утра явился Сенька и слезно просил ее не отпускать Михаила Федоровича на «действие хождения господина патриарха на осляти».

— Он мне, матушка, сказывал, что у тебя проситься будет, а по городу такой слух пущен, будто поляки в этот день всех бояр побить смертным боем хотят! Так уж ты угомони... Меня он послушать не хочет...

Предупрежденная верным холопом, Марфа Ивановна встретила просьбу сына о дозволении ехать на «действие» безусловным отказом.

— Матушка,пусти ты меня! — просил ее Михаил Федорович. — У меня душа горит еще раз увидеть господина патриарха. Говорят, что его только на этот день ляхи и вызволят из-под стражи.

— Патриарха Гермогена освободят на этот

день из-под стражи, чтобы бояр да знатных людей приманить... А сами на них ножи точат!

— Кто это мог тебе сказать? Верно, Сенька? Он в последнее время везде страхи видит... Не то что на улицу, и в огород меня одного не пускает... А это все пустое!

— Не пустое, коли в людях слух пошел. Даром говорить не станут... Ну, а Сеньке спасибо, что он тебя остерегает: береженого и Бог бережет.

— Матушка! Да ты меня не одногопусти:пусти под охраной... Пожалуй, хоть два десятка холопов на коня посади.

— Сказала — не пущу! — твердо произнесла Марфа Ивановна. — Ну, ты и не просись! Помни, что отец велел тебе ходить в моей воле.

Мишенька не решился более тревожить матушку, низко опустил голову и замолк.

В самое Вербное воскресенье ничего не произошло, хотя слух оказался недаром пущен, на «действие» не явился никто из бояр, а вся площадь, на которой «хождение на ослате» происходило, оказалась отовсюду окру-

женною польскими дружинами, которые стояли все время под ружьем, видимо готовые ко всяким случайностям.

В понедельник вечером, когда уж Мишенька, простившись с матерью, ушел к себе в опочивальню, Сенька опять пришел к Марфе Ивановне на тайную беседу.

— Государыня! — сказал он ей, осторожно притворив за собою дверь. — Ходил я сегодня по базару и слышал всякие слухи... Сказывал о них боярину Ивану Никитичу, да он меня старым дураком обозвал и с глаз прогнал, так я к тебе с теми же слухами... Изволь прислушать...

— Говори, сказывай все, что знаешь...

— На базаре говорили, что Ляпунов с ополчением со своим уж и всего-то на два перехода от Москвы остановился станом... И будто выслал сюда своих людей и воевод разведывать, как дело на Москве обстоит, и будто завтра вся Москва поднимется и ляхам всем карачун будет!

— Ох! Страшно и слушать... И не верится, а страшно! — со вздохом произнесла Марфа Ивановна.

— Коли люди ложь, и я тож! С тем и приими, государыня! А не сказать тебе не смею...

С этими словами Сенька удалился в свою каморку, рядом с опочивальной Мишеньки, и долго-долго ворочался на своем жестком соломеннике, обдумывая план действий на случай какой-нибудь заварухи, которая действительно как будто висела в воздухе над Москвою.

«Надо будет встать пораньше, — думал верный романовский холоп, — да на конюшню пойти, да конюхам приказать, чтобы верховые кони у них оседланы и взнузданы стояли, так-то оно надежнее будет».

На этом соображении сон одолел наконец его заботы.

XIX

КРОВАВАЯ БАНЯ

Вторник Вербной недели наступил тихо и мирно. Мороз был суровый. Солнышко встало багрово-красное, без лучей, огненным раскаленным шаром выкатилось оно из-за густого, морозного тумана, который клубился над Кремлем и закрывал золотые главы его соборов. Чуть проглянуло солнышко, и жизнь городская потекла своею обычною стезею. От застав на рынок нескончаемыми рядами потянулись возы с рыбой, с живностью, со всяким припасом, с щепяным товаром, с муравленой и глиняной посудой, с дровами и рогожами. Купцы в рядах открыли лавки с красным товаром, с шубами, иголками, кушаками, валенками и рукавицами. Около рядов закипел и мелкий разносный торг, крикливый и пестрый, подвижной и угодливый. Нигде не было заметно среди населения никакого особенно неприязненного настроения, каждый шел своей дорогой, спешил по своему делу и занят был своими заботами.

Вот мало-помалу к простолюдинам и толпе серого люда стало примешиваться и другое население. Думный дьяк проехал в расписных санях, обитых ковром и прикрытых медвежьей полостью, боярский сынок промелькнул на поджаром иноходце в нарядной сбруе, бояре один за другим потянулись в думу со своих подворий в просторных каптанах и в кошевнях, запряженных сытыми доморощенными конями в наборной упряжи с колокольцами... Народ боярам низко кланялся, а они в ответ чуть-чуть помахивали верхом своих высоких шапок. Одним словом, все шло самым обычным будничным чередом, и никому даже в голову не приходило, что весь город живет накануне страшной, никем не ожидаемой и непредвиденной грозы...

Около полудня небольшой отряд поляков под начальством ротмистра Козаковского двинулся из Кремля, везя с собою несколько тяжелых ственных орудий, предназначенных к постановке на стенах и башнях Белого города. Орудия везли на дровнях с подсанками, а в дровни впряжено было по четыре и по шесть лошадей. Возчики, сидевшие на лошадях вер-

хом, усердно погоняли их и выкрикивали на все лады, стараясь поддержать ровную и одинаковую тягу коней, но, вероятно, груз был тяжел, не под силу: пар валил от них клубами во все стороны, и весь поезд подвигался медленно... На самом повороте с площади в Ильинку, как раз на Крестце, заставленном густою толпой всякого серого люда, передние дровни вместе с орудием нырнули в глубокий ухаб, хрястнули, затрещали и расползлись под тяжестью груза. Остальные дровни, не остановленные вовремя, наехали на первые, лошади сбились и спутались, произошла невообразимая суতোлка и сумятица... Поднялись крики, ругань и польская, и русская, зашвистели плети над несчастными измученными лошадьми... Больше всех волновался и кричал пан ротмистр, начальствовавший отрядом:

— Пся кровь! Галганы! Мужики московские! Бить вас треба! Бий их, жолнеры! — ревел он, подскакивая к передовым дровням.

Жолнеры, исполняя панское приказание, сунулись было к возчикам и принялись их тузить, но один из них, здоровенный, кряжи-

стый детина, дал такой отпор двоим жолнерам, что один отлетел от него кубарем в снег, а другой схватился за нос, из которого струей потекла кровь.

Толпа, стоявшая на Крестце, разразилась хохотом.

— Ай да Федюха! Мастак отбиваться! Двоих пересилил!

А Федюха так и застыл на месте, ожидая нового нападения. Но нападения не последовало... Жолнеры попятнулись. Зато пан Козакковский набросился на толпу:

— Чего вы глотку дерете? Бисовы дзети! Ступайте вси!.. Зараз ступайте!.. Тащите бронь с мейсца!

И он с своего коня размахивал руками, чуть не хватая ближайшего из толпы за шиворот.

— Ну, ну, ты, польская ворона! Не замай! — закричало несколько голосов из толпы. — Не пойдём, проваливай!

И толпа сумрачно попятилась от пушек и сопровождавшего их отряда. Но пан ротмистр не унимался. Он принял это движение толпы за трусость и громче прежнего заревел своим

гайдукам по-польски:

— Хватайте московских мужиков! Бейте их, каналий! Они должны нам помочь! Не до ночи же нам здесь сидеть!

Десятка два жолнеров побойчее бросились к толпе, схватили несколько человек из нее и потащили к передним дровням.

— Ребята! Не выдавай своих! — раздались голоса. Толпа бросилась на жолнеров и отбила от них схваченных. Произошла свалка. Двое остались на месте побитые или смятые. Один из возчиков, лежа на земле, стонал, пытаясь приподняться. Один из жолнеров лежал неподвижно, широко раскинув руки...

Обе стороны попятились, как бы опасаясь дальнейшего кровопролития: они смотрели друг на друга мрачно и злобно, готовые броситься в новую свалку...

Вдруг один из жолнеров рванулся из строя, подбежал к возчику, который стонал и корчился на земле, и хватил его саблей по голове... Тот опрокинулся навзничь, обливаясь кровью...

— Лежачего бьют! Бей их, братцы! Бей! — заревела толпа, к которой отовсюду на крик

сбегались новые толпы людей. Пошли в ход поленья, плахи, ставни, мостовины, оглобли от дровней, толпа смяла жолнеров так быстро, что они не успели даже и выстрела сделать.

Кровь полилась ручьем, крики, стоны, рев толпь, бряцанье оружия — все слилось в один страшный, дикий хаос.

Но уже со стен Кремля заметили неожиданную схватку, кремлевские ворота отворились, и немцы, занимавшие Кремль, бегом бежали рота за ротою на помощь своим союзникам-полякам, блестя на солнце шишаками и пищалями... Загудел в Кремле набат, подхваченный и другими церквами. Раздались выстрелы, и все чаще, все громче, все грознее загудели раскаты залпов в разных концах площади, не заглушая страшного, раздирающего вопля массы ни в чем не повинных, безоружных и беспощадно избиваемых людей.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ИЗДЫХАНИЯ

Чуть только отдаленные раскаты выстрелов и первые звуки набата долетели до романовского подворья, Сенька стремглав бросился в боярские хоромы и прямо к Марфе Ивановне.

Он нашел ее в моленной. Она стояла на коленях рядом с Михаилом Федоровичем, которого не выпускала из объятий, уста ее тихо, чуть слышно шептали:

— Господи! Да будет воля Твоя!

— Государыня! Кони готовы, и добро все, что подороже, скоплено у меня и перевязано, в узлы перевязано... Мешкать некогда! — почти кричал Сенька.

— Я никуда не двинусь отсюда! — твердо ответила Марфа Ивановна. — Я исполню клятву... Буду ждать здесь Ивана Никитича, и тогда обсудим...

— Матушка! Да разве не слышишь, какая там жареха идет?.. Ведь бьют на площади и в Китай-городе... И вся Москва как в котле ки-

пит... Теперь бы нам отсюда и уйти!

— Замолчи! Не смей соблазнять меня! Ска-
зала тебе, что с места не сойду!.. Ступай и жди
моего приказа!

И она вновь стала на колени рядом с сы-
ном.

— Боже ты мой! Господи праведный! Что
мне делать? — чуть не со слезами прошептал
старый слуга, хватаясь в отчаянии за голо-
ву. — Видно, уж так тому и быть! — и он, выйд-
я из моленной, перешел через хоромы и се-
нями направился к надворному крыльцу, в
такой степени погруженный в свои думы, что
чуть не наткнулся на Ивана Никитича, кото-
рый как раз в это время входил в сени с на-
дворья, бледный и перепуганный насмерть.

— Где они? Где? Веди меня к ним скорее! —
кричал он Сеньке, с трудом держась и пере-
ступая на своих больных ногах.

— Пожалуй, батюшка боярин, сюда пожа-
луй? — радостно воскликнул Сенька, обрадо-
ванный приездом боярина, который должен
был вывести его из тяжкого затруднения, и,
подхватив Ивана Никитича под руки, он по-
чти потащил его в моленную.

— У меня, батюшка, и кони готовы, и добро боярское все в узлы связано! — шептал он боярину, чувствуя, как у того дрожат руки.

— Ладно, ладно, сейчас и двинемся! — отвечал Иван Никитич, сам даже не отдавая себе отчета в своих словах. Так дошли они до моленной и, войдя в нее, застали Марфу Ивановну и сына ее на прежнем месте на коленях.

— Скорее! Скорее! Собирайтесь! — закричал Иван Никитич, теряя всякое самообладание. — Москва вся поднялась — в Китай-городе и в Белом режутся насмерть! Поляки город поджечь хотят, а нам, боярам, велят собираться в Кремль, не то сгорим, погибнем все! Скорее! — и он беспомощно опустился на лавку.

— Мы готовы за тобой следовать! Веди нас туда, куда тебе укажет Бог и совесть! — твердо сказала Марфа Ивановна, поднимаясь с колен и не выпуская сына из объятий.

Сенька опять подхватил Ивана Никитича под руки и повел его к надворному крыльцу, беспрестанно оглядываясь на Марфу Ивановну и Михаила Федоровича, которые следовали за боярином.

Колымага Ивана Никитича стояла у крыльца. В то время как они в нее усаживались, выстрелы слышались где-то очень близко и крики, стоны, вопли сплошным гулом стояли в воздухе! Где-то уже горело, дым валил из-за домов клубами... Михаил Федорович зажал себе уши, чтобы не слышать криков, и склонился головою на грудь матери.

— Скорее, скорее, в Кремль, к дому Милославского! — крикнул Иван Никитич вершникам, сидевшим на выносной паре.

Колымага тяжело всколыхнулась, сдвинутая с места, и покатилась с подворья за ворота, у которых ожидал ее десяток польских вооруженных всадников, данных боярину для проводов и береженья. Всадники тотчас окружили боярскую повозку и вместе с нею быстро двинулись вперед, направляясь к Тайницким воротам Кремля.

Сенька засуетился, проводив своих бояр.

— Ребята, сбивайтесь в кучу! — кричал он боярским холопам. — Вьючьте узлы с боярским добром на коней! Скорее в Кремль, к дому боярина Федора Милославского! Чай, слышали, куда боярин сказывал везти?

Но суматоха и тревога на подворье были такие, что управиться Сеньке с холопами было мудрено. Все металось из стороны в сторону, каждый тащил и спасал свое добро, кто вьючил его на коня, кто волочил по снегу... Какая-то баба кричала во весь голос, чтоб не забыли взять ведро и корыто, и всем совала их в руки... А между тем ружейные залпы гремели уж близехонько, где-то за углом.

— Степушка! Голубчик! Ну их совсем, хоть мы-то с тобой поедем, захватим вот этих четырех коней с самолучшим боярским добром! — крикнул наконец Сенька в отчаянии, обращаясь к Скобарю, который довьючивал коня.

— Ладно, ладно! Всего ведь не заберешь с собой! — отвечал ему Скобарь, хватая двух ближайших коней под уздцы. — Дай Бог и с этим пробраться в Кремль? Чай, слышишь, каково там бьются.

Сенька не отвечал и, двинувшись к воротам с своими конями, крикнул остальным холопам:

— За нами ступай! За нами!

В это время толпа каких-то безоружных и

насмерть напуганных людей бежала по улице, мимо ворот подворья, крича и вопя во весь голос. Многие были окровавлены, иные еле волочили ноги. Двое, страшно израненные, бросились в ворота, ища спасения от всадников, бешено мчавшихся за ними и нещадно рубивших саблями.

Кони, испуганные их криками, шарахнулись в сторону и сбили Сеньку с ног, один из коней Скобаря вскинулся на дыбы, вырвался из рук его и бросился за ворота, топча на ходу встречного и поперечного.

Как раз в это время нагрянули к воротам рассвирепевшие польские и литовские всадники. Все они махали саблями и что-то кричали по-своему, загораживая романовским холопам дорогу.

— Господа честные! Паны всемилостивые! — бросился было к ним Сенька, униженно снимая шапку. — Это добро бояр Романовых! Мы в Кремль его возем под вашу охрану!..

— То вшистка наше! — крикнул ближайший из всадников, рыжий, свирепый, с длинными усищами. — Вшистка есть наше!

И, наклонившись, ухватил Сенькина коня под уздцы.

— Что ты! Что ты! Как можно! Боярское добро! Ребята, не давайте! — крикнул старик в отчаянии, стараясь вырвать поводья из рук грабителя.

Но прежде чем кто-нибудь подоспел к нему на помощь, удар сабли со стороны разрубил ему череп: кровь и мозг брызнули во все стороны... Старик отпустил руку и беззвучно ткнулся в землю, а всадники мигом очутились на дворе и принялись крошить саблями направо и налево.

Проклятия, крики, вопли и стоны наполнили все подворье и смешались с гулом выстрелов, с ревом набата и с тем страшным хаосом гибели и разрушения, который успел уже охватить всю древнюю первопрестольную столицу.

XXI

НАША ВЗЯЛА

Минуло еще полтора года в усиленной, кровавой, страшной борьбе с врагами внешними и внутренними, против которых, как один человек, восстала наконец вся Русь православная... Обгорелые и дымящиеся, облитые кровью развалины Москвы, сожженной поляками, обратились в один огромный воинский стан, в который изо всех концов земли Русской притекали дружины за дружинами и бились насмерть против польских ратей, когда те подходили на выручку поляков и немцев, засевших в Кремле и Китай-городе. И все теснее, теснее стягивалось вокруг этих твердынь железное кольцо, грозившее гибелью врагам, уже терпевшим страшный голод и нужду, но они еще нагло и горделиво отвергали пощаду, предлагаемую им русскими воеводами, князьями Пожарским и Трубецким... Однако же для всех было ясно, что исход борьбы уже был близок и неизбежен...

Как раз около этого времени, то есть в по-

ловине октября 1612 года, по очень дурной и разбитой Троицкой дороге подвигался к Москве нескончаемо длинный обоз подвод в пятьдесят, нагруженный запасами, которые спешно везли из Костромы в расположенный под Москвою лагерь Пожарского. Впереди обоза, покрикивая на всех остальных возчиков, шел уже знакомый нам высокий, осанистый старик с белою окладистою бородой, домнинский староста Иван Сусанин. Он и теперь, как десять лет назад, шел бодро, держался прямо и ступал твердо. Лицо его было по-прежнему свежим, а глаза светились умом и железною волей. Но рядом с ним шел не красавец зять, а внук, мальчик лет двенадцати, плотный и краснощекий, изо всех сил старавшийся поспеть за дедом и приравнять свои мелкие шажки к его широкому и ровному шагу. А по другую сторону сусанинского коня шел, опираясь на посох, высокий и худощавый инок в островерхом черном клобуке и потертой заплатанной черной рясе, тщательно подобранной и подоткнутой под кожаный пояс.

Покрикивая и на коней, и на возчиков,

Иван Сусанин в то же время внимательно прислушивался к рассказу инока, который сообщал ему о последних событиях под Москвою как человек, отлично обо всем осведомленный.

— Так-то, друг милый, — говорил инок, — вот уж недели две, как и боев никаких больше под Москвою нет... Наша рать стоит без дела да на кремлевские стены и башни смотрит, а с кремлевских стен и башен ляхи да немцы проклятые на нас смотрят, а сами и шагу ступить за кремлевский ров не смеют... Голод и нужду терпят превыше меры, а все же по своей сатанинской гордости и строптивости сдаться нам не хотят. Все ждут, что король пришлет им рать на выручку. Да где уж!.. Близок их конец!

— И давно пора! Попили нашей крови, пора за нее расплачиваться головами! — заметил Иван Сусанин.

— Их и жалеть нечего. Не миновать им Божьего суда! Да одно только и больно: с ними вместе неповинно и голод и нужду терпят наши братья, бояре и боярыни, и дети малые, они их в неволе тесной держат. Тем какво?

Те за что страдают?

— Ох, уж и не поминай, отец Паисий! Ведь и наши мученики там, Романовы-бояре: и госпожа честная, Марфа Ивановна, и сынок ее, Михаил Федорович, и дядя его, Иван Никитич Романов. Как заперлись в Кремле поляки, как разграбили и разорили их подворье, так с той поры и держат их в неволе. Не знаем, живы ли где?

— Как слышно, живы, — сказал инок с участием.

— А уж истинно страдальцы! Отец в плену и в узах у Жигимонта-короля за то, что вере не изменил и коварству польскому не поддался, а супруга его и сын здесь изнывают, снедаемые голодом, томимые и страхом, и тоскою смертною! Вот их-то, страдальцев этих, жалеючи, князь Пожарский на прошлой неделе грамоту милостивую в Кремль к польским да к литовским нехристям отправил.

— Карачун бы им всем, проклятым, а не милость! — проворчал про себя Сусанин.

Инок, не расслышавший его слов, продолжал о том же:

— И в той грамоте прописал: «Слышим,

мол, что вы, в осаде сидя, голод безмерный и нужду всякую терпите, так не лучше ли бы вам покориться и такой нужды и голоду за неправду не терпеть... Присылайте к нам, не мешкая, коли хотите сберечь головы ваши и животы в целости».

— Ну, и что же они, окаянные?

— Посланного облаяли, а грамоту назад нечестно воротили.

Сусанин даже плюнул с досады.

— Ну, да за то же и наказал Бог! — продолжал инок. — Перебежчики от них намедни сказывали нам, будто уж падалью питаться стали и, даже выговорить страшно, человеческим мясом не брезгают!

— С нами крестная сила! — отозвался с содроганием Сусанин. — Ну, видно, что правда твоя: близок их конец!

И тотчас после этого восклицания оглянулся на возчиков и крикнул им на весь голос:

— Потягивай, ребята, потягивай! Последний перегон до Москвы гоним, всего верст с пяток до белокаменной осталось!

И когда весь обоз, как бы ободренный этим напоминанием, прибавил ходу, старый инок,

взглянув в сторону Ивана Сусанина, проговорил печально:

— Пять верст осталось, и все эти пять верст придется идти сплошным пожарищем... Пепелища видишь там, где процветали и села, и веси, и обитатели многие...

И действительно, весь путь до Москвы, по мере приближения к ней обоза, пролегал через выжженные дотла поселки и деревни, нигде не видно было никакого следа человеческого жилья. Темными впадинами смотрели настежь распахнутые ворота некогда богатых дворов, и ветер свободно врывался в окна без рам и ставень. Всюду лежали нагроможденные груды черных, обуглившихся, развалин — печальный признак былого довольства и процветания. Видно было, что люди давно уже покинули эту юдоль плача, скорби и стенаний!

Вот наконец обоз вступил и в обгорелые улицы Москвы и, руководимый иноком Паисием, направился к Арбатским воротам, где раскинут был стан ополчения, пришедшего под Москву с князем Пожарским и Кузьмою Мининым. У самого въезда в стан, где постав-

лен был сильный караул, строго осматривавший и допрашивавший всех, особый пристав принял Ивана Сусанина с его обозом, отобрал от него бирки, по которым следовало принять хлебные запасы от возчиков, и указал, куда следует везти запасы и кому сдавать. Только уже справив это дело, Иван Сусанин спросил у пристава, как бы ему разыскать костромское ополчение своего зятя, и услышал от пристава вопрос:

— А кто же твой зять?

— Богдан Сабинин из деревни Деревищи, под Костромою.

— А, знаю! Добрый воин: недавно урядником назначен. Вон куда ступай, где красные рогатки стоят... Там всяк тебе костромичей покажет.

Сусанин с внуком двинулся по указанному направлению и, переходя через стан, надивиться не мог тому строгому порядку и чину, который всюду был заметен. Ратники варили себе пищу около огней, сидели кружками близ шатров, чистили оружие, чинили сбрую и ратные доспехи, все были заняты, все держали себя чинно и с достоинством. Нигде не

слышно было ни крика, ни брани, ни громкого смеха, ни разгульных песен.

Подойдя к красным рогаткам, Сусанин тотчас разыскал костромское ополчение и только хотел было у первого встречного ратника спросить о зяте, как кто-то окликнул его со стороны.

— Батюшка! Не меня ли ищешь?

И высокий красивый мужчина в шишаке и кольчужной рубахе, опоясанной кожаным поясом с бляхами, бросился обнимать старика, бряцая мечом, висевшим сбоку.

— Здравствуй, голубчик, здравствуй! — крикнул Сусанин, обнимая зятя, которого не сразу и признал в его воинском доспехе. — Привел Бог свидеться! А вот тебе и сына на побывку сюда привёз!

Богдан Сабинин поднял мальчика на руки и, целуя, прижал к груди своей.

— Дедушка! — говорил мальчик, дергая деда за рукав. — Глянь-ка, у батьки-то и шапка, и грудь, — все как есть железное.

— Ну, тестюшка, одно скажу: вовремя ты пожаловал! Сегодня, снесясь с князем Пожарским, поляки выслали к нам из Кремля всех

жен, какие были при русских людях, боярынь и дворянок, а назавтра обещались выслать к нам бояр и остальных русских пленников...

Уж молят нас теперь только о том, чтобы жизнь им пощадили, во так их голод одолел! Ждем, что завтра к вечеру и сами выйдут из Кремля.

— Слава Богу! Давно бы уж пора! — проговорил Сусанин, крестясь. — Да что же ты не скажешь: жива ли государыня-то наша? Вышла ли она с боярынями?

— Нет!.. Прислала князю сказать, что без сына Михаила не тронется и с места... С Скобарем тот сказ прислала... Видно, завтра надо ждать.

— Ох, хоть бы Бог привел еще раз ее, страдалицу, увидеть! — ей поклониться и бояричу-то нашему, государю Михаилу Федоровичу! Кажись, тогда и умирать-то легче было бы!

— Ну, батя, что затеял! Погоди умирать, завтра всех наших бояр воочию увидим.

Утро на другой день было туманное и серенькое, спозаранку накрапывал дождь, а по-

том вдруг большими хлопьями повалил было снег. Но к полудню разъяснило и солнышко, выглянув из-за темных облаков, облило обширный воинский стан, и белые стены, и башни Кремля своими яркими лучами. По условному знаку, белому знамени, выставленному на одной из кремлевских башен, Пожарский приказал сильному конному и пешему отряду двинуться к каменному мосту, перекинутому из Кремля через Неглинную, и поставил отряд полукружием у моста. Толпы ратников из других таборов и толпы казаков вместе со всяким людом и сбродом сбежались туда же смотреть на выпуск пленных бояр, как на зрелище... Воеводы, князя Трубецкой и Пожарский, стали внутри полукружья, образуемого строем войск, чтобы с честью встретить и принять невольных кремлевских сидельцев, изможденных лишениями и страданиями всякого рода.

Вот наконец кремлевские ворота приотворились и из них вышла небольшая кучка людей, принаряженных в поношенное боярское платье, изнуренных, бледных, еле передвигавших ноги, за ними следом двигалось еще с

полсотни дворян, детей боярских и челядинцев с узлами и связками какого-то жалкого домашнего скарба, с мешками, сундучками и ларцами на плечах.

Вдруг слева из толпы казаков и сброда слышались крики:

— Вот они, изменники! Давайте их нам!.. Мы им окажем честь да почет, ограбим их донага! Вали, ребята! Пробивайся!

Произошла сумятица и давка, казаки потеснили задние ряды ополчения... Но Пожарский крикнул грозно:

— Не пускать буянов! Стрелять в ослушников! Кто смеет сунуться вперед, ответит головою!

И толпа отхлынула с ропотом недовольства и подавленной злобы... А князь Пожарский уже шел с приветливою улыбкою навстречу боярам, сходявшим с моста.

Впереди всех с непокрытою головой шел маститый старец боярин Федор Милославский, держа в одной руке икону, а другою ведя рядом с собой инокиню Марфу и сына ее Михаила, бледного, исхудалого, но благообразного и стройного шестнадцатилетнего

юношу. За ними на носилках Скобарь и другой холоп боярский несли Ивана Никитича Романова, более похожего на тень, чем на живого человека... Еще далее следовали Иван Михайлович Воротынский и еще с десятков других бояр.

Пожарский облобызался с Милославским и низко поклонился всем боярам. И у них, и у него слезы были на глазах, когда они произносили первые приветствия:

— Привел Бог! Слава Богу! Избавил нас от смерти и позора!

— Слава Господу, слава! Честь и радость вам, бояре! Просим к нам жаловать на почет и совет! — отвечали воеводы.

И все вместе воеводы и освобожденные бояре направились к шатру Пожарского, где была для встречи приготовлена скромная трапеза.

— А тебе, государыня, — обратился Пожарский к инокине Марфе, — для покоя и отдыха с сыном приготовлена особая палатка рядом с деверем твоим...

— Спасибо, князь! — проговорила Марфа Ивановна. — Но мне с сыном здесь не отдох-

нуть, не успокоиться... Дозволь нам завтра же отсюда отъехать в наши костромские вотчины... Окажи мне милость: дай мне обережатаев, которые бы нас до дому проводили.

Князь собрался ответить Марфе Ивановне согласиём на её просьбу, как вдруг со стороны послышались громкие возгласы:

— Здрава буди, государыня Марфа Ивановна, на многие лета! — и человек двадцать костромичей с Иваном Сусаниным и Богданом Сабининым во главе выступили вперед и ударили земной поклон своей госпоже.

— Вот и земляки мои здесь оказались! Спасибо вам, добрые люди!.. А, и ты здесь, старина! — ласково обратилась она к Ивану Сусанину, который целовал руку Михаилу Федоровичу. — Как ты попал сюда?

— С запасом, матушка, с запасом! Да не один я здесь, с полсотни нас наберется...

— А не возьметесь ли вы меня в Домнино отвезти с сыном?

— Да сделай нам такую милость! Дозволь нам отвезти тебя... Отвезем покойно и бережно! Охраним от лихого человека!.. У нас с собою и рогатины, и топоры захвачены — все

лоском ляжем, а тебя с сыном не выдадим! — восторженно заговорили костромичи.

— Так вот, князь, — сказала Марфа Ивановна, приветливо обращаясь к князю Пожарскому, — не тревожься назначать мне обережатаев... У меня свои нашлись из земляков. Я доверяю им, они меня проводят!

Потом, обратившись к Ивану Сусанину, сказала:

— Сегодня мы с сыном здесь отдохнем, оправимся, а завтра на рассвете будьте готовы в путь...

— Слушаем, матушка, слушаем! Будем готовы! — гаркнули костромичи, кланяясь в пояс Марфе Ивановне.

— Государыня Марфа Ивановна! Неужели же ты с нами и двух-трех дней перебыть не хочешь? — как бы с укором сказал Пожарский. — Ужели не хочешь видеть, как лютые вороги наши покинут стены Кремля, как мы вступим вновь туда, где починут святые праведники наши и чудотворцы?

— Не сетуй, князь, на нас. Мы с сыном пострадались, извелись в тоске и муках... Нам ничто теперь не мило... Нам покой и отдых

нужны...

Князь молча поклонился и проводил инокиню Марфу с сыном до их шатра.

XXII

НЕ НА ТОГО НАПАЛИ

Не прошло еще пять месяцев. Зима уже шла к концу, морозы после Афанасьева дня стали слабеть, даже повеяло теплом в начале марта, так что и на дорогах стало подтаивать... И вдруг опять неведомо откуда налетели вихри, закурила в поле метель, и дней пять подряд такая стояла погода, что света Божьего не видать стало, не было возможности отличить утро от вечера, и всюду в деревнях намело сугробы около изб вровень с крышами.

Как раз после одной из таких-то метелей по одному из лесных проселков Костромского уезда пробиралась порядочная шайка литовско-польских воровских людей числом с полсотни или поболее. Шайка шла, видимо, не издалека, шла налегке, без всякого обоза, если не считать двух вьючных кляч, на которых

был нагружен небольшой дорожный запас.

Большая часть «воров» была весьма изрядно вооружена, у половины шайки за спину закинута были фузеи и мушкеты, у других в руках были рогатины и копья, а за кушаком пистолы, сбоку болтались кривые сабли и прямые тесаки.

Двое передовых, по всем признакам вожаки, ехали верхом на небольших, но бойких лошадках, закутанные в толстые суконные кобеняки, с надвинутыми на голову куколями, из-под которых посвечивали небольшие шеломцы. Один из них, худощавый, носатый и суровый на вид, с огромными рыжими усищами, был угрюм и не говорил, а другой, плотный и приземистый, румяный и круглолицый, с живыми и быстрыми карими глазами и маленькими черными усиками, был большой говорун и весельчак, почти не умолкавший ни на минуту.

— Вот сейчас, пан Кобержицкий, — говорил он по-польски своему спутнику, — вот еще только немного проедем, тут и будет деревня.

— Я это от тебя уже не в первый раз слы-

шу, пан Клуня! — серьезно отозвался суровый молчальник.

— Так говорили мне, так мне указывали, — тараторил пан Клуня. — Сказали, что до этой деревни пять верст еще осталось...

— А мы уж целый десяток проехали, и все без толку, — проворчал пан Кобержицкий.

— Да ведь сам ты знаешь, — заметил пан Клуня, понизив голос, — что очень-то не приходится распускать язык в вопросах... Мы посланы с тобою за таким делом, которое... которое...

— Которое нисколько не мешает толковому расспросу о направлении пути! — отрезал пан Кобержицкий.

— Да я же тебе слово гонору даю, что мне так сказали: еще проедем пять верст и приедем в Домнино, где живет этот молодой боярин... с матерью...

— Молодой, которого на Москве старые дураки бояре в цари избрали, — злобно проговорил пан Кобержицкий, — и которого мы должны во что бы то ни стало сцапать и отвезти в Литву. А мы тут бродим как слепые по дорогам, благодаря твоей милости, пан Клу-

ня!

— А это что? — с торжествующим видом воскликнул пан Клуня, указывая пальцем вперед по дороге, на показавшиеся из-за деревьев крыши двух изб. — Это что, пан Хмурый? Это и есть Домнино, майонтек Романовых!

Пан Кобержицкий насупил брови, приглядываясь, потом сдержал коня и махнул рукою своим, чтобы остановились. Шайка сбилась в кучу около своих вожаков, и началось спешное совещание.

Те избы, которые завидел между деревьями пан Клуня, принадлежали вовсе не к боярскому селу Домнину, как он предполагал по слухам и указаниям, а к небольшому поселку Деревищи, от которого действительно было не дальше пяти-шести верст до усадьбы Романовых. В этом поселке, состоявшем из десятка изб (между ними только одна была с трубою, а остальные все черные), когда подходила шайка, были дома старухи да грудные дети, а все остальное мужское и женское население было на рубке дров в лесу за много верст от Деревищ.

В единственной избе с трубою и крытым

крылечком лежал на печи и трясся под полушубком от злой лихоманки домнинский староста Иван Сусанин. Накануне приехал он на побывку к дочке и к зятю, который только что вернулся из-под Москвы, и спозаранок в тот же день выслал всю деревню в лес на рубку дров для боярской усадьбы. И сам хотел с ними ехать, да под утро его стало так ломать, что он предпочел остаться дома с внуком Васей и залег на печь, прикрывшись полушубком.

Трясет и ломает его лихоманка лютая, то жжет, то знобит на горячей печи, а он лежит под своим полушубком и думает все одну и ту же думу:

«Пришел из-под Москвы зять и диковинную весть принес, будто собрались в Московском Кремле именитые бояре, и воеводы, и духовные лица, и всяких чинов люди на собор и стали царя выбирать. И прошел такой слух, будто не захотели избрать ни князей, ни бояр, а избрали молодого юношу, нашего боярича Михаила Федоровича. Будто искали его по всей Москве и выспрашивали, куда он укрылся, и посылать за ним хотели. Коли

правда, так уж точно: дивны неисповедимые пути Господни!»

Яростный лай собаки под самыми окнами избы прервал нить его размышлений. Внук Вася, сидевший на лавке под окном, вдруг метнулся к печи:

— Дедушка, а дедушка! Слышь! Какие-то чужие не-знамые люди и с копьями по деревне бродят.

На лице Васи написан был испуг и смущение.

— Незнамые люди? С копьями? — тревожно переспросил дед и одним махом, как молодой, спустился с печи.

Глянул в окно и вдруг, схватив Васю за плечи, прошептал ему скороговоркой:

— Мигом беги в чулан, прихоронись за кадку с крошечком и сиди не пикни, пока к тебе не выйду сам!

Мальчик стремглав бросился исполнять приказание деда и скрылся за дверью, а Иван Сусанин опять полез на печку и прикрылся полушубком.

Немного спустя раздался стук в окошко.

— Гей! Есть кто тутэй? — слышался чей-

то грубый голос.

Старик лежит и с места не ворохнется.

Стук и оклик повторились еще громче и грознее — и то же молчание было им ответом.

Вскоре раздались тяжелые шаги в сенях, слышно было, что вошло разом несколько человек, а вот и дверь в избу распахнулась настежь, и двое каких-то «незнамых», вооруженных с головы до ног, переступили через порог в избу.

— Гей! Кто тутэй есть, до тысенца дьяблов! — крикнул громко один из них, высокий и усаый.

Сусанин подал голос, застонав на печке.

— А! Вон где быдло лежит! — проговорил тот, что был помоложе. — Пойдь сюды!

Сусанин приподнял голову из-под полушубка и застонал еще громче.

— А! Сам нейдзешь, так плетью тебя, каналью! — крикнул пан Клуня, взбираясь на печь.

Тогда Сусанин спустил ноги с печи, откинул полушубок и глянул прямо и спокойно на незваных гостей.

— Чего вам надо? — спросил он их сурово.

— Слезай, тогда и мувимы, цо нам треба! — крикнул пан Клуня, хватая старика за руку и пытаясь стащить его с печи, но даже и сдвинуть его не мог.

— Постой! Сам слезу! — сказал Сусанин, прикидываясь равнодушным.

И точно, спустился он с печи и выпрямился во весь рост перед поляками, сложив руки на своей богатырской груди и глядя им прямо в очи.

— Чья то деревня? — спросил пан Клуня.

— Бояр Романовых вотчина.

— Домнино?

— Нет, не Домнино, а Деревищи.

Паны переглянулись в недоумении.

— Але же брешешь, пся кровь! То Домнино! — топнув ногою, крикнул пан Клуня.

— Ну, коли ты лучше меня знаешь, так чего же и спрашиваешь? — спокойно возразил Сусанин.

Паны перекинулись несколькими польскими словами, между тем Сусанин не спускал с них своих умных и острых глаз.

— А где же Домнино? Чи еще далеко? —

спросил усатый пан.

«Далось им Домнино, проклятым, — сообщал тем временем Сусанин. — Видно, недоброе задумали?»

— Далеко ли до Домнина? Слышишь ли, каналья? — нетерпеливо крикнул пан Клуня, топая ногою.

— До Домнина отсюда еще верст двадцать будет, коли этою дорогою идти! — прехладнокровно отвечал Сусанин, почесывая в затылке.

— А есть и другая дорога? — вступил опять пан Кобержицкий.

— Как же не быть, есть... Только той дороги вам не найти.

— А ты ту дорогу знаешь? — допрашивал пан Клуня.

— Как мне ее не знать? Вестимо знаю! Мы и всегда в Домнино по той дороге ездим и ходим. Той дорогой и всего-то будет пять либо шесть верст.

— О! — многозначительно протянул пан Кобержицкий и переглянулся с товарищем. — Надо той дорогой идти, — шепнул он ему польски.

— Ну, так ты зараз одевайся, веди нас тою дорогой, — заспешил пан Клуня.

Сусанин посмотрел на него молча и смерил его глазами.

— Слышишь? Одевайся и показывай дорогу! — крикнул нетерпеливо поляк.

— Слышу, а показывать не стану, — спокойно отвечал Сусанин.

— Как ты смеешь так отвечать мне? — закричал Клуня. — Да знаешь ли ты, проклятый москаль, что я тебя...

И он рассыпался в угрозах и ругательствах.

Сусанин стоял как вкопанный и молчал, не спуская глаз с Клуни. Тут уж и Кобержицкий не выдержал, выхватил пистолю из-за пояса и приставил в упор к груди Сусанина.

— Ну, что ж? — проговорил Сусанин. — Убей, коли любо! Кроме меня никто здесь не знает этой дороги... Во всей деревне одни старухи да грудные дети...

Кобержицкий опустил пистолет и отошел на два шага от Сусанина вместе с Клуней.

— Ничего с этой скотиной не поделаешь! — сказал он по-польски товарищу. — Надо попробовать его со стороны денег... Нельзя

ли подкупить...

Мысль понравилась Клуне, и тот подошел к Сусанину, который по-прежнему стоял неподвижно на месте, скрестив на груди руки.

— Слушай, ты, — сказал Сусанину Клуня полушутя-полусерьезно. — Ты в наших руках!.. Нас тутэй полсотни... Ежели не покажешь дороги, мы тебя забьем и всех забьем, а фольварек ваш запалим...

— Что ж? Ваша воля!

— А ежели покажешь, то вот, погляди, цо у меня в кишени? — и он вынул из кармана горсть серебряной мелкой монеты, среди которой сверкали два золотых червонца.

— Вот это другое дело! — заговорил Сусанин, притворно улыбаясь. — Вот ты и давно бы так-то, пан! Коли заплатишь хорошо, я покажу дорогу!

А у самого в голове уже созрел весь план действий, и одна только мысль тревожила его: удастся ли ему хоть на мгновение увернуться от проклятых панов, чтобы шепнуть заветное словечко Васе.

— Деньги любишь, а пистоль не лю-

бишь? — вставил словечко и суровый Кобержицкий, покручивая рыжий ус.

— Кто же денег-то не любит? — развязно заговорил Сусанин. — За деньги что угодно. Все за деньги можно... Давай задаток, пан, так не поверю.

Клуня сунул ему в руку червонец.

— Ого-го! Какие деньги славные! Давай, давай сюда! — заговорил Сусанин, перекладывая червонец из руки в руку и как бы любуясь его блеском. — Ну вот теперь, сейчас и в путь... Надо только на дорожку поснедать чего-нибудь! Пожалуйста сюда к столу... А в печи есть щи да каша...

Он метнулся к печи, осторожно вынул из нее ухватом два горшка и, поставив на стол, стал кланяться панам.

Запах горячих щей и каши магически подействовал на обоих вожakov шайки, порядочно прозябших и проголодавшихся с утра. Они не заставили себя долго просить и, присев к столу, тотчас принялись усердно за щи и за сукрой хлеба, которые им отсадил Сусанин от каравая.

— Ах, батюшки! — спохватился вдруг Суса-

нин. — Кашу-то вам подал, а маслицо-то конопляное в чулане! — и повернул от стола к дверям в сени.

— Куда? Куда ты? — спохватился пан Кобержицкий, вскакивая из-за стола. Но пан Клуня удержал его за рукав, шепнув ему польски:

— Не бойся, не уйдет! Все входы и выходы заняты нашими молодцами. И дом весь мы осмотрели, он здесь один, куда ж ему уйти? А кашу есть без масла не годится.

Пан Кобержицкий успокоился, а Сусанин вышел в сени и чуть только притворил за собою дверь, как бросился в чулан, нагнулся к кадке с крошевом и шепнул:

— Здесь ты?

— Здесь, дедушка! — отвечал Вася шепотом.

— Сейчас я уведу злодеев... И как уйдем, так становись на лыжи и в Домнино беги! Скажи боярыне, чтобы немедля укрылась с сыном в Кострому... Чтоб часу дома не оставалась!.. Понял?

— Все понял, дедушка.

— А этих я в труппу лесную заведу, не

скоро оттуда вылезут!

И он по-прежнему, с веселым видом вернулся в избу, бережно неся в руках горлач со свежим конопляным маслом.

— Вот с этим маслицем каша-то сама в рот ползет! — проговорил он, посмеиваясь.

Паны насытились и встали из-за стола. И Сусанин вместе с ними похлебал щей, отведал каши и сунул себе горбушку, хлеба про запас за пазуху полушубка, который подтянул широким кушаком.

— Ну, господа паны! Пора и в путь, коли до темноты хотите добраться в боярскую усадьбу... Пойдем! — сказал Сусанин, доставая с печки суковатую палку и снимая шапку со спицы.

Паны поднялись, оправляя одежду и побрякивая оружием.

— Помни, пся кровь! — сказал Сусанину в назидание пан Клуня. — Ежели нам не ту дорогу покажешь, пуля тебе в лоб! Убьем, как собаку! А ежели...

— Да полно, пан! Я денежки люблю, а коли их не пожалеешь, будь спокоен! Как раз доставлю к месту.

И в то время когда паны направились к дверям, Сусанин обернулся к иконам и осенил себя широким крестом... Во взоре его, устремленном на божницу, горела непоколебимая решимость, он твердо знал, куда идет, что делает, знал, что не вернется более под свой родимый кров.

XXIII

ИЗБРАННИК БОЖИЙ

С тех пор как Михаил Федорович и Марфа Ивановна, под охраною своих земляков-костромичей, вернулись в Домнино и вступили в свой старый боярский дом, им показалось, что они в рай земной попали. Кругом тишина и покой, добрые, знакомые лица домашних и слуг, знакомые стены хором, знакомые издавна виды на ближайшие окрестности усадьбы и мирная, последовательная работа той хозяйственной среды, в которую невольно вступал каждый, поселявшийся в усадьбе и вынужденный утром и вечером выслушивать доклады старосты о корме, о скоте, о хлебных запасах, о скопах и приплоде, о лесном заде-

лье и домашних работах. С утра будил крик петуха, свободно и звонко горланившего под самым окном боярской опочивальни, среди дня до хором долетали со скотного двора мычанье коров и бляенье овец, чуввших приближение весны, а потом конюхи выводили из конюшни коней, чистили их у коновязи и проминали, впрягая в легкие санки... Все напоминало о простой естественной жизни, далекой от всяких бед и напастей, от всякой суеты и соблазнов. И вся эта обстановка жизни, все эти простые условия ее, и необычайная тишина, и неоцененное спокойствие приобретали особенное, выдающееся значение еще и потому, что у них в памяти были еще живы все ужасы испытанных ими терзаний, все недавно пережитые ими лишения, страхи и впечатления действительности. После страшного года, проведенного в тяжком плену в Кремле, и мать и сын долгое время не могли привыкнуть к окружающему их покою, довольству и безопасности, и нередко случалось, что воображение, болезненно настроенное и исстрадавшееся, переносило их в ночных сновидениях к тому нескончаемо долго-

му кремлевскому сидению, о котором они не могли вспомнить без содрогания... Им слышались во сне крики, вопли, стоны умирающих от ран, проклятия несчастных, терзаемых муками голода, и гром, и треск выстрелов, и призывный колокол тревоги, и рокот барабанов, и кровь, кровь всюду... И как приятно, как сладко им, после всех этих ужасов, проснуться в своей постели в старинных родовых хоромах при свете лампы около божницы, в которой каждая икона знакома с детства! Первые проблески утра проникают в опочивальню сквозь слюдяные оконницы с мелким свинцовым переплетом, петух кричит под окном, гуси важно и степенно гогочут где-то поблизости...

— Господи! Как здесь хорошо! Как мы счастливы, избавленные, по милости Божией, от всего, всего, что нас окружало там, в пасти львиной!.. — вот с какою мыслью просыпались и мать, и сын в течение первых недель своего пребывания в Домнине, убаюкиваемые царившею кругом, на сотню верст, безопасностью.

— К нам, государыня-матушка, в наши ко-

стромские лесищи не сунутся никакие воры, никакие лихие люди, — так говорили Марфа Ивановне все домашние и служня. — Тут и дороги-то непроходимые, и дебри дикие, и тянутся-то на десятки верст, а версты те мерила бабка клюкой да махнула рукой... Кому сюда зайти, кому затесаться?

И вот, опираясь на эту уверенность всех окружающих, Марфа Ивановна решала даже посетить некоторые из соседних обитателей и ездила туда на богомолье с сыном в сопровождении весьма небольшого количества челядинцев. Вернувшись из Макарьевской на Унже обители, Марфа Ивановна решила никуда из Домнина не выезжать и ждать тех известий о московских событиях, которые Иван Никитич обещал ей сообщить при первом удобном случае.

Несколько дней спустя под вечер пришел к ней староста домнинский Иван Сусанин и испросил у нее позволения отлучиться в Деревищи, дочку повидать да деревищинских мужиков в лес на заделье отправить.

— Сам с ними, матушка, в лес пойду, так работа у нас поскорее пойдет, в пять дней на

всю зимушку тебе дров запасем.

— Что ж, ступай, Иван, да ворочайся скорее. Мне при тебе спокойнее.

— Не замешкаюсь, матушка. А если что тебе понадобится, так тут ведь недалечко.

С тем он и ушел, и уже второй день подходил к концу со времени его отлучки, когда под вечер хватились ключей от амбара и нигде их не могли найти. Побились, поискали и решили, что, верно, Иван Сусанин их куда-нибудь намеренно припрятал, и порешили завтра спозаранок за ним послать нарочного.

Все эти толки и разговоры о ключах и об Иване Сусанине, которые Михаилу Федоровичу пришлось в тот вечер слышать, остались у него в памяти, и когда лег спать после ужина, он, быстро заснув, тотчас увидел Сусанина во сне. Всегда приветливый и ласковый к нему старик протягивал ему руку, помогая перейти по узкой лавинке через бурливый и шумный поток.

— Не бойся, государь, — говорил Сусанин, — ступай смелее, а там дальше, лесом, тебя проводит Сенька...

И действительно, Михаил Федорович уви-

дел на противоположном берегу своего верного, дорогого пестуна, который тоже протягивал к нему руки.

— Сенюшка! Голубчик! — воскликнул юноша, со слезами радости бросаясь на шею к старому и верному слуге.

С этим возгласом он и проснулся, и глаза его еще были мокры от слез, и он долго не мог отделаться от скорбных воспоминаний о несчастном Сеньке, с которым провел свое детство и отрочество и которому был столь многим обязан.

Вдруг до слуха его долетел какой-то странный звук... Как будто в сенях кто-то в дверь стучит и ломится что есть мочи. Но никто не отворяет, крепко спят холопы у его порога и в сенях на залавке. А стук сильнее и пуще... Наконец Михаил Федорович не вытерпел, вскочил с постели и разбудил старика Скобаря, который постоянно ложился у порога его опочивальни.

— Ступай, узнай, что там за стук? — сказал он. — Боюсь, как бы и матушку не разбудили.

Прислушиваясь, он расслышал, как отодвинули засов двери, как раздались потом

чьи-то голоса, поспешные и тревожные шаги, потом даже суетливая беготня по всему дому. До слуха его долетели слова:

— Скорее, скорее!.. Не медлите!

И на пороге его комнаты явился Скобарь, ведя за руку мальчика в коротком тулупчике и с ног до головы запорошенного инеем...

— Государь! — проговорил Скобарь тревожно. — К тебе внук Сусанина с недобрыми вестями...

— Что такое? Говори скорее! — обратился Михаил Федорович к мальчику.

— Дедушка послал меня... Злодеи к нам пришли, тебя ищут, он их в лес увел, говорит, не скоро из лесу выпустит... А тебе велел немедля укрыться в Кострому... Немедля!

Мальчик все это выговорил одним духом, запыхавшийся и взволнованный.

— Я уж послал будить государыню и коней велел впрягать, — проговорил Скобарь. — Да всей дворне вели садиться на коней с запасом для охраны поезда... Авось еще успеем уйти...

Михаил Федорович, ничего ему не отвечая, подошел к Васе, обнял его и поцеловал.

— Спасибо за услугу, — проговорил он, глу-

боко тронутый. — Я тебя не забуду.

А Марфа Ивановна уже стояла на пороге, и торопила сына со сборами, и отдавала приказания, и распоряжалась ускорением отъезда. Полчаса спустя широкие розвальни, запряженные тройкою гусем, стояли у крыльца. За этими розвальнями стояло еще пятеро саней, в которых сидело по три и четыре холопа, вооруженных чем попало. Впереди розвальней должны были скакать вооруженные вершники с фонарями... Марфа Ивановна с сыном поспешно села в розвальни, Скобарь поместился сбоку на облучке, и по знаку, данному Марфой Ивановной, весь поезд двинулся со двора боярской усадьбы по лесной дороге к Костроме, до которой предстояло проехать около семидесяти верст.

«Господи! Где успокоимся? Где без страха приклоним наши горемычные головы?» — думала Марфа Ивановна со вздохом.

Приехав на другой день около полудня в Кострому, Марфа Ивановна не решилась остановиться на житье в самом городе, она предпочла вместе с сыном укрыться в стенах Ипатьевской обители, которая отделяется от горо-

да рекою Костромою и лежит при самом впадении ее в Волгу. Здесь, радушно принятые и обласканные игуменом обитатели, наши скитальцы нашли себе спокойный и безопасный приют... Эти стены, эти башни могли выдержать продолжительную и упорную осаду.

Несколько дней спустя из Домнина получены были печальные вести: Иван Сусанин был варварски убит ворами, которых он завел в непроходимые лесные трущобы в стороне от всяких путей, пролежавших от Деревиц к Домнину. Деревищинские и домнинские крестьяне по темным и смутным указаниям Васи разыскали шайку злодеев в лесу и истребили их всех, мстя за Ивана Сусанина. Получив это известие, Марфа Ивановна и Михаил Федорович отслужили в Троицком соборе Ипатьевской обители заупокойную обедню за рабов Божиих Иоанна и Симеона, верных слуг, положивших живот свой за спасение господ.

Одновременно с этою вестью Марфа Ивановна получила и присланное в Домнино письмо от Ивана Никитича, который извещал ее, что все участвующие в соборе, созван-

ном в Москве для избрания царя, склоняются на сторону ее сына Михаила Федоровича, как единственного отпрыска именитого боярского рода, имеющего и «царское происхождение», как пострадавшего более всех других от смуты и в то же время ни в каком смысле смутою не запятнанного. Это письмо в такой степени поразило Марфу Ивановну своим содержанием, что она даже не решалась показать его сыну и только вскользь сообщила ему о вестях, полученных из Москвы, и о соборе, занятом избранием нового московского царя, а сама она стала думать напряженно и усиленно, как следовало ей отнестись к предстоящему избранию?

Ее нежное материнское сердце с ужасом отворачивалось от тревог и опасностей, которым должно было подвергнуться ее милое детище, вступив на престол в такую страшную эпоху, когда все расшатано, разорено, казна царская расхищена и отовсюду грозят и смуты, и войны, и бедствия народные? Но ей вспомнился и завет Филаретов, и рядом с ним вся дивная судьба этого юноши, прошедшего через тысячи превратностей, бед и опасно-

стей, столько раз бывшего на краю гибели и все же сохраненного неисповедимым Промыслом... Не он ли есть истинный избранник Божий, на котором почиет благодать Господня? Не ему ли суждено умиротворить и успокоить расходившиеся волны смут народных и залечить раны, нанесенные взаимною враждою и нескончаемыми войнами?

Эти думы не давали ей покоя ни днем ни ночью, и вопросы, тревожившие ее, требовали настоящего и немедленного разрешения, в народе уже шел слух о том, что «великое посольство» отправлено из Москвы в Кострому и не сегодня завтра должно прибыть в Ипатьевский монастырь... И вот 13 марта, под вечер, Скобарь донес госпоже своей, что посольство прибыло в город и отдыхает от пути.

Следующий день был чисто весенним днем. Солнце светило ярко, небо было голубое и безоблачное, ручьи, звонко журча, бежали по двору обители, направляясь к реке по откосу берега. Жаворонки, взвиваясь высоко-высоко над окрестными полями и лужайками, отчетливо и радостно выводили свою обычную песенку, свой гимн весне, теплу и

пробуждающейся природе. Откуда-то далеко из-за Волги доносилось чуть слышное курлыканье пролетной стаи журавлей. И вот среди этой торжествующей и радостной природы из города к обители при звоне всех колоколов двинулось многолюдное шествие, предшествуемое хоругвями, крестами и образами с чудотворною иконою Федоровской Божией Матери во главе, шло великое московское посольство с соборным наказом и грамотами об избрании Михаила Федоровича Романова на царство «всею землею Русскою». Позади посольства шли воеводы костромские, местное духовенство, служилые люди и толпы народа.

Марфа Ивановна и сын ее увидели приближающееся к обители шествие. Сын, ничего не знавший о прибытии посольства, с недоумением смотрел на чудное зрелище из окна своего монастырского терема и наконец спросил у матери:

— Матушка, что это за крестный ход? Я ничего о нем не знаю... И почему он идет к обители из города?

Марфа Ивановна, пристально смотря вдаль, проговорила чуть слышно:

— Эти люди идут сюда разлучить меня с тобою...

— Как? Что ты хочешь сказать?

— Они несут грамоту об избрании тебя на царство.

— Меня?! — воскликнул Михаил Федорович с изумлением и страхом.

— Да, тебя! — твердо отвечала ему мать. — И я должна буду внять их мольбам и исполнить их просьбу и дать свое согласие на твое избрание, хотя сердце мое обливается кровью при одном помышлении о том.

— Но, матушка, я не могу, не смею...

— Ты не можешь отказаться. Таков завет отца твоего... Иди и исполни долг свой перед избравшею тебя землей.

Сын, рыдая, упал перед матерью на колени, а она благословила его и прижала к своей груди...

21 февраля 1613 года «избранник Божий» — Михаил Федорович стал царем всея Руси, положив начало благословенной династии Романовых.



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytsky
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное
издательство Стрельбицкого»**

ул. Саксаганского, 58, оф.8
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:
www.strelbooks.com **www.audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!

Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Эта книга охраняется авторским правом

Copyright © 2016

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Примечания

1

Старинное — медление, мешкание.

[^^^]

2

Мама — так в древнерусском быту называли кормилицу.

[^^^]

3

Название рыболовных снастей, которые ставят в траве и около берегов на небольшой глубине, в них рыба сама заходит.

[^^^]